

Предисловие автора

Лев
ТИМОФЕЕВ

Я — ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК

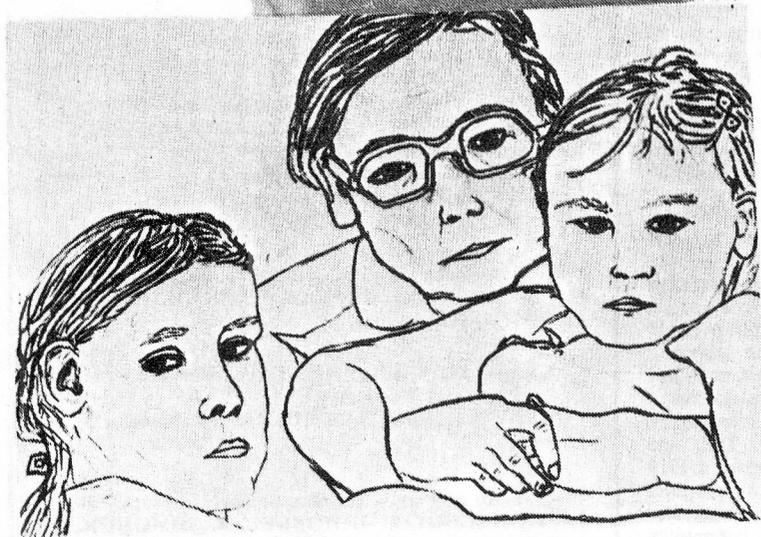
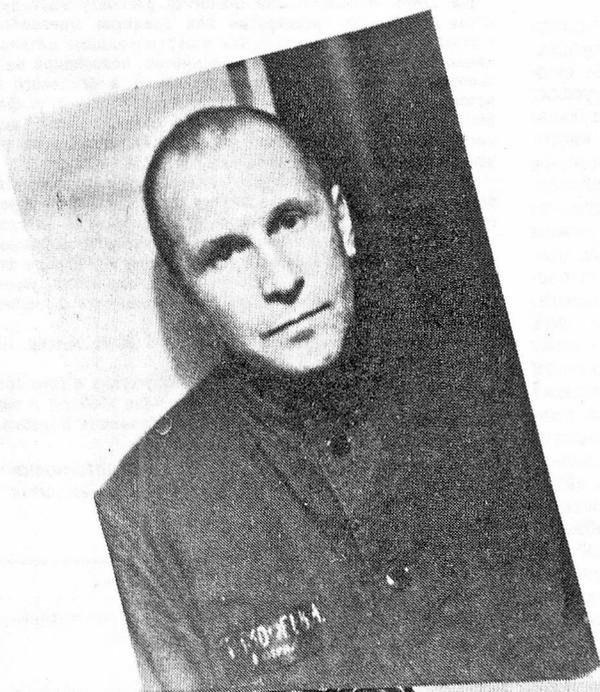


Рисунок Сони Тимофеевой.
Фото А. Бородаевского.

Почему мне удалось сделать эту книгу? Не знаю. Не понимаю. До сих пор никогда никто из осужденных по 70-й статье (за «антисоветскую агитацию и пропаганду») не имел возможности опубликовать свое «дело» так полно, как это дано мне. Кем дано? Не знаю.

Обычно тома подобных «уголовных дел» лежат где-то в секретных архивах Комитета государственной безопасности, и никогда никто из бывших политзаключенных не получал к ним доступа. И я то не чаял когда-нибудь увидеть свое «дело», думал, в лучшем случае внуки прочтут, прочтут и поймут наше время и нас самих, а скорее и вовсе будут эти документы заблаговременно уничтожены. И поэтому, когда вскоре после освобождения из лагеря я пришел в Мосгорсуд и написал заявление с просьбой ознакомить меня с моим «уголовным делом», я действовал совсем без простодушных надежд. Я совершенно сознательно ждал отказа. Мне важны были мотивы, по которым откажут. Я хотел начать «Дело об истребовании «Дела»». И вдруг: «Можно, приходите — читать будете здесь, в Мосгорсуде...» Это было едва ли не самое большое потрясение в жизни. Даже освобождение из лагеря меня не так удивило.

Что нужно увидеть за этим? Попытку соблюдения законности? Или просто где-то что-то в механизме сломалось, что-то заклинило, какая-то шестерня не туда заскочила? Время покажет... Но мне было дано, и я не имею права этим не воспользоваться...

Журнальный вариант. Некоторые документы публикуются в сокращении. Полностью опубликовано в книге «Моление о чаше», изд. «La Presse Libre», Париж, 1989 г. За эту книгу автору была присуждена парижская премия имени Владимира Даля 1988 года. В издательстве «Вся Москва» в ближайшее время выйдет книга Л. Тимофеева «Я — особо опасный преступник», которая включает в себя как раз те работы автора, за которые он был привлечен к «уголовной ответственности» в 1985 году.

20 марта 1985 г.

Герб СССР
Комитет Государственной безопасности СССР
Управление
16.03.1985 № 5/10—138

Город Москва

Начальнику Следственного отдела
Комитета государственной безопасности СССР
генерал-лейтенанту юстиции
т. Волкову А. Ф.

В отношении Тимофеева Л. М.

В 1980—1984 годах на Западе получили широкое распространение антисоветские сочинения Льва Тимофеева «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить», содержащие клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Они опубликованы в журналах «Грани», «Русское возрождение», «Время и мы» и неоднократно передавались радиовещательными станциями «Свобода», «Голос Америки».

В ходе розыскных мероприятий установлено, что автором указанных материалов является Тимофеев Лев Михайлович, 1936 года рождения, уроженец города Ленинграда, русский, гражданин СССР, беспартийный, женат, ранее не судимый, с 1980 г. член профессионального комитета литераторов при издательстве «Советский писатель», проживает в Москве (следует адрес).

Причастность Тимофеева к изготовлению названных пасквилей подтверждается материалами выдачи литературы в Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке, где он значится как получатель документов, использованных при подготовке «Технологии черного рынка...», перечень которых опубликован в журнале «Грани» № 120 за 1981 год.

Направляя опубликованные за границей пасквили Тимофеева Льва Михайловича и другие материалы, просим Вас решить вопрос о возбуждении в отношении его уголовного дела по части I статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР.

Приложение: по тексту в одном пакете.

Штамп: Следственный отдел КГБ СССР
Вход. № 4/688
18.03.85

1. Резолюция: тов. Расторгуеву В. Н. Прошу возбудить уголовное дело по ст. 70 УК РСФСР, провести расследование. Волков.
2. Резолюция: тов. Губинскому А. Г. Для исполнения указания руководства Отдела. Расторгуев. 18.03.85.

ПРОТОКОЛ
задержания

19 марта 1985 года

Город Москва

...Задержание произведено ввиду наличия данных о том, что Тимофеев Л. М. на протяжении ряда лет занимается изготовлением и распространением произведений, содержащих клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй СССР, т. е. на основании, указанном в пункте 3 статьи 122 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, и по тому мотиву, что, находясь на свободе, он может препятствовать установлению истины по делу либо скрыться от органов предварительного следствия. Тимофеев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР.

Производство задержания окончено в 12 час. 55 мин...

Замечания задержанного: Мною написано заявление об отказе участвовать в следствии, которое прошу приобщить к настоящему протоколу.
19.03.85. Тимофеев.

Задержание произвел и протокол составил: начальник группы следственного отдела КГБ СССР подполковник А. Губинский.

Подозреваемого Тимофеева Л. М. содержать в Следственном изоляторе КГБ СССР.

Начальник следственного отдела
Комитета государственной безопасности СССР
генерал-лейтенант юстиции

А. Ф. Волков

Прокурор отдела Прокуратуры Союза ССР старший советник юстиции Чистяков и начальник группы следственного отдела КГБ СССР подполковник Губинский в служебном кабинете отдела с соблюдением требований ст.ст. 123, 150—152 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР допросили в качестве подозреваемого: Тимофеева Льва Михайловича...

Допрос начал в 11 час. 35 мин.

Вопрос: Вам были разъяснены ваши права как подозреваемого. Вы отказались принимать участие в следствии в «какой бы то ни было форме». Поясните, в каких предусмотренных законом следственных действиях вы отказываетесь принимать участие и какими предусмотренными законом правами не намерены воспользоваться в процессе предварительного следствия?

Ответ: Я отказываюсь принимать участие во всех следственных действиях и оставляю за собой право жаловаться на действия лица, производящего дознание.

Вопрос: Когда вами была написана повесть-очерк «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать»?

Ответ: Как я уже указывал в заявлении от 19 марта с.г., сам факт литературного творчества не может быть объектом уголовного расследования, поэтому я отказываюсь участвовать в следствии.

Вопрос: Названная повесть-очерк была написана вами специально для передачи за границу и ее опубликования там или вы не ставили перед собой такой цели?

Ответ: Мне нечего добавить к своему заявлению от 19 марта с. г.

Вопрос: Как ваша повесть-очерк оказалась за границей и с вашего ли ведома (как автора) была опубликована в зарубежных антисоветских журналах «Грани» и «Русское возрождение»?

Ответ: Еще раз напоминаю о своем отказе участвовать в следствии.

Вопрос: К какому виду литературы вы относите написанную вами повесть-очерк «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать»?

Ответ: Это вопрос следствия, поэтому отвечать на вопрос отказываюсь.

Допрос производился с перерывом с 13 часов 15 минут до 15 часов 20 минут и окончен в 16 часов 20 минут.

ПРОТОКОЛ
допроса обвиняемого

12 апреля 1985 г.

Город Москва

Начальник группы следственного отдела КГБ СССР подполковник Губинский допросил в качестве обвиняемого: Тимофеева Льва Михайловича...

Допрос начал в 11 часов 45 минут...

Вопрос: В начале своего эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» вы пишете: «Мы живем в государстве, будущее которого туманно». Поясните, на чем основан этот ваш вывод.

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Далее вы пишете: «Куда мы движемся? Что будет с нами через три — пять лет? Ответы на эти вопросы сегодня не знает никто, и даже руководители страны не знают». А этот сделанный вами вывод на чем основан?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: «Темпы роста советской экономики падают год от года, и ожидается, что годовой национальный доход, кото-

рый уже и теперь упал до 2%, будет и дальше сокращаться», — пишете вы в своем эссе. На основании каких данных и из каких источников полученных вы утверждаете это?*

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: У вас нет ответа на поставленный вопрос. Вы не в состоянии на него ответить?

Ответ: Моя позиция по отношению к уголовному следствию изложена в заявлении от 19 марта с. г.

Вопрос: В своем заявлении от 19 марта с. г. вы заявили, что не считаете литературное творчество уголовно наказуемым деянием. В данном случае речь идет о вашей работе, в которой вы клеветаете на внутреннюю политику Советского государства, заявляете, что «нас ждет застой и обнищание — в общегосударственном масштабе...». Кроме того, клеветнически утверждаете, что якобы в нашей стране «террор остается основным методом политического правления». Распространение же клеветнических измышлений, порочащих советский и общественный строй, путем изготовления (сочинения) литературы такого содержания является уголовно наказуемым деянием. Понятно ли вам сделанное разъяснение? Намерены ли вы отвечать на поставленные вопросы?

Ответ: Ответа не последовало.

Допрос производился с перерывом на обед с 12 часов 45 минут до 14 часов 50 минут и окончен в 16 часов 45 минут.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Мне было спокойно в следственной тюрьме. Да и в лагере потом было спокойно.

В первые часы после ареста и в первые несколько дней я очень остро чувствовал свое новое положение. Жизнь резко изменилась. Но еще более резко изменилось восприятие жизни. Конечно, я заранее знал, что меня могут арестовать, и мы с женой обсуждали такую возможность, но одно дело — болезнь, хоть болезнь и смертельная, а все надеяться, и другое дело — смерть. Впервые я понял, что значит умереть для прежней жизни. То есть слова-то эти я хорошо знал — за несколько лет до того я был крещен — и много раз читал и слышал эти слова, но умер только теперь в глухой, без окон, с пыльной решеткой вентиляционного отверстия камере, куда меня завели для предварительного обыска, медицинского осмотра и прочих процедур, предшествующих заключению в тюрьму.

Я умер и все лучше понимал это по мере того, как меня пытались допрашивать, по мере того, как меня обыскивали, отнимали металлические предметы: нательный крест, часы, авторучку, даже брюки мои отняли, найдя в них запрещенную металлическую застежку, и выдали мне обесцвеченные многими стирками серые эковские портки на веревочной завязке — впрочем, оказавшиеся очень удобными, как пижама, — я их проносил все девять месяцев пребывания в Лефортове...

Я умер. Но уже и после смерти прежняя жизнь не отпускала меня, и во сне я держал на руках своих детей, ласкал жену — так постоянно, так осязаемо, что сознание подсказывало какие-то как бы реалистические обоснования: это меня на день отпустили домой, — и пробуждение в жизнь было такой же четкой реальностью, как и реальность сна: я как бы запросто переходил из пространства в пространство.

Конечно же, я тревожился за моих близких. Я знал, что им сейчас много хуже, чем мне, а вскоре и вовсе стал интуитивно ощущать тяжелую болезнь жены (как-то в камере мне приснилось много свежего, кровавого мяса, кажется, это была человечина, как в фильме А. Германа), потом же и прямо узнал о болезни: в коридоре суда и после, на свидании, увидел жену, утратившую разум, понял, что дети будут расти и без отца, и без матери.

И при всем при том мне было спокойно и в следственной тюрьме, и потом, в лагере. Я не знаю, как это объяснить, но я всегда знал, что все, что происходит со мной и с моими близкими — все это страшное горе, — надо воспринимать как должное, как данное. И в этой данности, в этом долженствовании есть благо. Думаю, что для христианского сознания горе, данное как благо, не кажется ни парадоксом, ни поэтическим приемом. Это основа всему.

Но тут же я хорошо понимал и свою двойственность, свою слабость: моя душа, мое нравственное чувство — это было спокойно, но постоянно возмущено было мое социальное сознание — я постоянно осознавал бессмысленность, тупое отсутствие логики, животный автоматизм в действиях тех, кто меня арестовал, мучил идиотскими вопросами на следствии, устраивал собачью комедию суда и потом сторожил, открывал и закрывал множество тяжелых замков, обыскивал по четыре раза на дню, запрещал сесть или, наоборот, встать, вталкивал в камеру или выволакивал из камеры. Зачем все это? Ради чего? Неужели все только из-за того, что я позволил себе думать? Ведь никаких иных проступков я не совершал! Я только думал и мысли свои записывал на бумагу.

И когда я понимал это, признаюсь, успокаивалось и мое социальное сознание; значит, я хорошо думал, значит, я правильно думал, если все эти мерзавцы так встревожены... Но тут же тревога, возмущение возникали вновь: ну, хорошо, но ведь не из мерзавцев же только состоит мир, как же могут все эти люди, все эти писатели, артисты, деятели кино, просвещенцы и просветители, все эти блестящие писатели и говоруны — как же могут они говорить и писать, когда я вот здесь сижу за десятью замками, за пятью стенами, охраняемый двумя или тремя десятками мерзавцев, и все только за то, что я позволил себе думать! Нелепость какая-то...

И вот теперь я никогда не взялся бы за эту книгу, если бы речь шла только о горе, пережитом мной и моими близкими, — это нам дано, и нельзя жаловаться, все надо принимать с благодарностью. Но социальная бессмысленность происшедшего не дает мне спокойно жить. Нельзя казнить человека только за то, что он позволил себе думать и записал свои мысли на бумагу.

Смешно даже говорить об этом, смешно и страшно... Но в Лефортове страшно не было. В Лефортове скоро стало спокойно и привычно: в двери камеры открывался черный квадрат кормушки, появлялось комсомольское лицо молодого надзирателя, и он указывал ключом или просто пальцем:

- Фамилия?
- Тимофеев.
- Имя, отчество?
- Лев Михайлович.
- На вызов.

На вызов — это на допрос: по металлическим, но ковровой дорожкой застеленным мосткам тюрьмы, по коридорам следственного корпуса, где в окнах простое стекло и можно успеть на ходу увидеть часть сквера, прохожих, детей, играющих в классы, и в глухой темный коридор, в кабинет следователя.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

Город Москва

16 апреля 1985 г.

(Подполковник Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начат в 14 часов 40 минут.

Вопрос: В своем эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» вы пишете: «...сегодня уверенно можно сказать, что осознание обществом своей оппозиции власти — важнейший социальный и духовный процесс современной России». На основании чего вы так уверенно говорите о якобы «осознании обществом своей оппозиции власти»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Считаете ли вы себя находящимся в «оппозиции к власти»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вам в очередной раз разъясняется, что написанные вами сочинения «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности», содержащие клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, используются зарубежными центрами идеологической диверсии во враждебной пропаганде против Советского Союза. Намерены ли вы, используя свое право автора, обратиться в редакции журналов и радиостанций, использующих ваши сочинения в указанных враждебных СССР целях, с тем, чтобы предот-

* Здесь и далее сохранен синтаксис подлинников.

вратить в дальнейшем их публикации и использование в передачах и тем самым нанесение ущерба нашей стране?

Ответ: Ответ на этот вопрос, как и на всякий другой, возможен только после того, как органы КГБ прекратят преследовать меня в уголовном порядке как автора литературных произведений.

Вопрос: Назовите те литературные произведения, автором которых вы являетесь и за которые, по вашему мнению, вы необоснованно «преследуетесь в уголовном порядке»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: О том, что ваши сочинения с клеветой на советский общественный и государственный строй используются зарубежными пропагандистскими центрами во враждебных СССР целях, свидетельствует передача радиовещательной станции «Голос Америки» от 8 сентября 1984 года. Вам оглашается выдержка из нее следующего содержания: «В трех последних номерах издающегося в Нью-Йорке журнала «Время и мы», в выпусках с 75-го по 77-й, опубликована последняя большая работа проживающего в Советском Союзе публициста Льва Тимофеева «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности». В сегодняшнем выпуске программы «Религия в нашей жизни» мы познакомим вас с отрывками из эссе Тимофеева, в которых речь идет о духовной жизни современного советского общества. Другая замечательная работа Льва Тимофеева под названием «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» была опубликована в 1980 году в ряде номеров издающегося в Соединенных Штатах квартального журнала «Русское возрождение», а затем вышла отдельным изданием в Нью-Йорке в издательстве «Товарищество зарубежных писателей». Между прочим, «Технология черного рынка» Тимофеева передается в текущих выпусках сельскохозяйственной программы «Голоса Америки». Эссе Тимофеева, опубликованное в журнале «Время и мы», — это размышление о государстве и обществе в Советском Союзе. Главный тезис этой работы: советское общество постоянно сопротивляется навязанной ему мертвящей доктрине». Что вы можете сказать по поводу приведенной вам выдержки из передачи?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вы отказываетесь принимать меры к предотвращению ущерба интересам Советского Союза, причиняемого западными антисоветскими центрами с использованием ваших уже упоминавшихся выше сочинений?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Следует ли это понимать так, что вы умышленно в целях причинения ущерба изготовили названные сочинения и передали их на Запад для их использования антисоветскими центрами во враждебной пропаганде против Советского Союза?

Ответ: Нет ответа.

Допрос окончен в 17 часов 55 минут.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

Город Москва

18 апреля 1985 года

(Подполковник Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начат в 11 часов 20 минут.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на трех листах белой стандартной бумаги, озаглавленный «Грузинские деньги и нищая Россия», начинающийся со слов: «Я — нищий... Вам, читатель, знакомо это ощущение гольной нищеты?» — и заканчивающийся словами: «Взятки? — спросите у наших медсестер. Тайна». Данный текст изъят у вас в квартире при обыске 19 марта 1985 года. Кем исполнен этот текст?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Не являетесь ли вы автором предъявляемого вам текста?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В этом тексте говорится: «Мое положение в обществе всегда казалось мне достаточно высоким: я специальный корреспондент центрального журнала...», далее: «И вот, дожив до сорока лет и оглянувшись вокруг, я вижу, что я — нищий». Эти и другие изложенные в тексте

данные дают основание полагать, что автором данного текста являетесь вы. Так ли это?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В том же тексте вы пишете: «Какая-то мистическая сила все более и более овладевает нашим обществом. Черный рынок, теневая экономика, темные связи. Тайна! Бесплезно искать разгадку этих тайн в выступлениях политических лидеров, в комментариях обозревателей, в публикациях экономистов и социологов — кругом завеса, туман. Какие-то темные силы играют нашей судьбой — как в кошмаре мелькают свиные рыла телеобозревателей, копытца мелких партийных секретарей, хвосты и уши профессоров экономики...» и далее: «Прочь! Понять-то нужно. И не только и даже не столько потому, что мне, нищему, хочется узнать, кто же мой век заел, сколько затем, чтобы увидеть воочию — что есть социализм?»

Уже в этих строках, судя по тексту, написанных вами в 1980 году, усматривается ваше негативное, если не сказать враждебное, отношение к существующему в нашей стране социалистическому строю. Для какого круга читателей предназначалась эта написанная вами статья под названием «Грузинские деньги и нищая Россия»?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на десяти листах белой стандартной бумаги, исполненный красителем зеленого цвета со вставками, исполненными красителем красного цвета. Текст начинается словами: «Наташа! А вот еще: на лекцию в санаторий...» и заканчивается словами: «Я не говорю о двух десятках барменов — миллионеры, как сказал бы кавказец Гаспар». Этот текст также изъят у вас в квартире при обыске. Кем исполнен этот текст?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Как этот текст, адресованный «Наташе», оказался у вас в квартире, не являетесь ли вы автором текста и не адресован ли он вашей жене Эклсер Наталье Евгеньевне?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В предъявленном вам тексте говорится: «Мы — страна слепоглухих. Лишь то, что доступно осязанию, составляет наши знания о мире. Мы и себя-то знаем на ощупь». Далее: «Нужно написать методику сбора материалов. Нужно сказать, в каких условиях оказывается любой задумавшийся и ищущий» и там же: «попробуйте отнять привилегии у партийной бюрократии — долго ли продержится система? Да ни единого дня! В правящей структуре никого не останется, все разбегутся по артелям, да в снабженцы, да за прилавком». Чем вы можете объяснить столь разительное сходство приведенных выдержек из двух рукописных текстов, предъявленных вам, с тем, что вами написано в статьях «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» и «Последняя надежда выжить»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на одном листе белой стандартной бумаги, исполненный красным красителем, начинающийся со слов: «Дефицит как принцип власти. Сухарики к пиву» и заканчивающийся словами: «при открытом рынке этих условий нет». Данный текст также изъят при обыске в вашей квартире. Кем он исполнен?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: В тексте говорится: «любая власть, для того, чтобы существовать, должна создать дефицит. Дефицит политических свобод. Дефицит выбора пути. Но для того, чтобы упрочиться, она должна этот дефицит расширить, сделать всеобъемлющим принципом. Только в условиях дефицита власть имеет возможность распределять по своему усмотрению. При открытом рынке таких условий нет». А как вы объясните совпадение этой выдержки с тем, что вами изложено в статье «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на 37 страницах белой стандартной бумаги, исполненный красителем синего и красного цвета. Текст начинается словами: «Ален Безансон. Краткий трактат по советологии, предназначенный для гражданских, военных и церковных властей (1976 г. ВРХД, №№ 118, 119)» и заканчивается: «Какая все это глупость! Партия и государство живут в обществе и за счет общества и одновременно развращают его и ассимилируются им идеологически. А Безансон попался на удочку, против которой сам предостерегал — партия и государство на практике вовсе не то же самое, что принимает образ реальности

газетных передовиц и парадных докладов. И Брежнев в разных аудиториях говорит иногда противоположные по своему смыслу вещи. И в «Соснах» нет лозунгов». Этот текст также изъят у вас на квартире при обыске. Кем он исполнен и не написан ли вами?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: В данном тексте записано: «И в «Соснах» нет лозунгов». В своей статье, опубликованной в антисоветском журнале «Грани» № 120 в 1981 г., «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» вы пишете (страница 104 журнала): «Но село-то Уборы — оно отнюдь не затерялось в просторах, но находится в лучшем месте езды от столицы и между двумя самыми привилегированными санаториями страны, между «Соснами» и «Барвихой», а далее (страница 133 журнала): «но нету лозунгов ни в строгих коридорах обкомов партии, ни в здании ЦК, ни в санаториях, где отрешаются от повседневности высшие партийные чиновники».

Чем вы можете объяснить такое сходство в рукописи и написанной вами статье?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: На второй странице этого рукописного текста записано: «Вообще предположение, что нет рынка — неверно. При этом исходят из внешней видимости советской системы. Рынок существует, но, стесненный демагогической доктриной, он принимает форму черного рынка». Приведенная выдержка текста также совпадает с изложенным в вашей статье «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать». Не является ли предъявленный вам рукописный текст наброском тезисов к упомянутой статье?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: На третьей странице той же рукописи говорится: «да и партийная бюрократия, эти хозяева страны, лишь на словах прикрывали рыночные отношения — т. е. отношения по поводу обмена благами — они прикрывали эти отношения лишь затем, чтобы под идеологической завесой развернуть во всю ширь отношения черного рынка, то есть такие отношения, где можно спекулировать преимуществами, никакого отношения не имеющими к преимуществам экономическим: преимуществом власти в первую очередь». А это совпадение со статьей «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» чем вы можете объяснить?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: В связи с тем, что столь явные совпадения дают основания считать вас автором рукописного текста, поясните, где, когда и от кого вы получили журнал «Вестник русского христианского движения», номера 118 и 119, издающийся в Париже, со статьей Безансона и кому затем их передали?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на 19 листах белой стандартной бумаги, исполненный красителем черного цвета. Текст начинается со слов: «Ален Безансон. Краткий трактат по советологии, предназначенный для гражданских, военных и церковных властей. Вестник русского христианского движения. 1976, № 118, стр. 171—205» и заканчивается словами: «Кстати, не из Польши ли ждать главной беды всей системе? Адрес не такой уж неожиданный». Кем исполнен этот текст и не являетесь ли вы его автором?

Ответ: Ответа не последовало.

Допрос производился с перерывом на обед с 12 часов 45 минут до 14 часов 40 минут и окончен в 17 часов 40 минут.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Заклученных Лефортовской тюрьмы в шесть утра будят надзиратели — громким стуком в дверь или криком в раскрытую вдруг кормушку: «Подъем! Подъем! Кончай ночевать!..» Но еще раньше будит далекий звук первого трамвая и плотный непрерывный вороний крик.

Я никогда прежде не был в районе тюрьмы и теперь, освободившись, все никак не соберусь туда съездить. Но знаю и так — и говорили, и из коридоров следственного корпуса видно — рядом парк. Где-то недалеко есть еще и кладбище, на кладбище — церковь, и иногда во время прогулки оттуда слышен мягкий звон, — и эски, вышагивающие, или бегающие, или делающие зарядку в своих тесных

прогулочных двориках, останавливаются и прислушиваются, да и те, кто в судьбе своей отчаялся настолько, что даже на прогулке перестал двигаться и сидит на лавочке потерянно, — и эти поднимают голову на церковный звон, прислушиваются...

Но громче всего, заглушая все, звучит вороний крик. Ворона — главная птица для заключенного. По ней можно движение времени чувствовать: замолчали вороны — значит, день к концу, скоро отбой, закричали вороны — значит, вот-вот по тюремному коридору застучат кормушки и в твоей камере кормушка со стуком откинется и закаркает в нее надзиратель: «Подъем! Подъем! Подъем! Подъем!»

Я в общем-то хотел говорить о том, как много птицы значат в мире заключенного, — о воробьях, которых мы зимой, в лютые пермские морозы, подкармливали в слепенькое окошечко рабочей камеры внутрилагерного карцера, о синице, которой на зоне доставалось последнее сало из редкой и скудной эковской посылки (посылка полагается только по прошествии половины срока, один раз в год, пять килограммов весом — если не лишит начальство. Запрещены в посылке: масло, колбаса, кофе-какао. Сало — можно).

Я хотел говорить о птицах, но и здесь вот ворона, главная птица, летит вперед, заглушает всех других. В Лефортове ворона — лефортовский соловей, а привезут вас в пермский лагерь, в Кучино, и там прежде всего ворону услышите — кучинский соловей, как будто иной гармонии эску и от начальства не положено.

Но бывали дни, когда и ворона радовала, трогала душу — не криком, нет, — но своим своим существованием, тем, что вот она, жизнь, живая плоть.

В лагере в апреле, в марте ли — не помню точно, в апреле, должно быть, — две вороны стали вить гнездо на высокой березе. Вить, пожалуй, тут неточное слово: на самой верхушке голой еще березы они складывали свое гнездо, и весь небольшой наш лагерь, пятьдесят особо опасных государственных преступников — от двадцатилетнего Финкельштерна, посаженного за то, что, служа в армии, закричал как-то по пьянке своему командиру, что удерет в Израиль (восемь лет строгого режима: три — тюрьмы и пять — лагерь, за намерение шпионажа в пользу иностранной державы), и до восьмидесятилетнего Бутлерса, латышского крестьянина, мобилизованного некогда немцами (десять лет лагерей через тридцать лет после изгнания немцев), — весь наш особо опасный лагерь три раза в сутки ходил в столовую, возле которой росла береза, задрал головы, и следил, как продвигается воронье строительство, и обменивался впечатлениями. Ни суда, ни следствия, ни многих лет за забором — только птицы на березе.

Все началось с трех толстых прутьев, положенных поперечно, — фундамент!

Потом пошли прутья более мелкие, но видно было, что не просто внаброс кладутся, а с толком, вскрепу — оба, и он, и она, были хорошие строители, и кто-то видел, как они, скача по забору, таскали с промзоны тонкий провод в зеленой пластиковой изоляции — обмотанное этим проводом прутье не развалить никакому урагану.

Как только гнездо было готово, они, подменяя друг друга, принялись насиживать яйца, не слетая с гнезда даже в самые жестокие дожди и ветры, даже и в позднюю, уже по первым листьям, метель, вызывая этим наше эковское одобрение.

А вскоре береза зазеленела, гнездо скрылось из глаз — и что там с этой семьей было дальше, трудно сказать. Но в начале июня прыгал по веткам соседних берез любопытный вороненок — их ли вороненок, или из соседнего перелеска залетел чужой, а их — через заборы в перелесок улетел — кто знает? Птицы здесь свободно летают, по ним охрана не стреляет...

Зимой же главной птицей становится сорока — она как-то терпится летом, а зимой, на снегу, ярко видна, и видно, какая это красивая птица, какое у нее перо с радужным переливом... Особенно эта сорочья живописность видна тогда, когда долго просидишь в карцере и месяц или полтора ничего, кроме темно-серых шершавых бетонных стен, нет перед глазами, а выходишь — яркий снег, солнце, густая голубая тень от барака — и сорока на заборе, подвижная, веселая птица — и никакого ей нет дела до колючей проволоки, до охранника, скрючившегося от холода на своей вышке, — и сорочьих перья переливаются на солнце. Хорошо!

Герб СССР
Всесоюзная ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени
Академия сельскохозяйственных наук
имени В. И. Ленина
Центральная научная
сельскохозяйственная библиотека

Старшему следователю
следственного отдела КГБ СССР
тов. Осину Н. И.

08.04.1985 № 22

На Ваш № 19-340 от 28.03.1985

Тимофеев Л. М. пользовался Центральной научной сельскохозяйственной библиотекой ВАСХНИЛ в 1977 и 1978 гг., что установлено по регистрационной тетради.

В 1977 году имел читательский билет № 25425 в читальном зале и № 2769 на абонементе.

В 1978 году имел читательский билет № 6864 в читальном зале и № 3056 на абонементе...

По тетради регистрации читателей, пользующихся спец. фондом, установлено, что в 1977 году Тимофеев Л. М. посетил читальный зал 2 раза: 2 июня 1977 года взял 12 книг; 3 июня 1977 года взял 6 книг...

Просмотром книжных формуляров выявлены книги, которыми Тимофеев Л. М. пользовался. Список литературы прилагается (на двух листах).

Директор ЦНСХБ А. Яйкова

Замечание обвиняемого: Я не умею снять недоумение, которое возникнет у читателя, когда он сопоставит дату этого письма с датой самого первого документа дела, где говорится, что мое авторство уже тогда было вычислено с помощью материалов выдачи литературы в ЦНСХБ.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

гор. Москва.

11 мая 1985 года

(Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начал в 14 часов 40 минут.

Вопрос: В процессе обыска 19 марта 1985 года у вас был обнаружен протокол Рязанского государственного педагогического института о сдаче вами 15 июня 1963 года кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму с оценкой «отлично». Так оценен ваш ответ экзаменационной комиссией на вопрос «исторический материализм как наука о законах развития общества». В эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» марксистско-ленинскую теорию вы называете «мертвящей доктриной» и утверждаете, что «марксистская философия в принципе отказывается видеть в наших жизнях, в нашем опыте сущность истории». Это свидетельствует о том, что вы при написании эссе допускали заведомую ложь. Поясните, с какой целью вы это делали?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: По сообщению редакции журнала «Молодой коммунист», в 1976 году вы были приняты кандидатом в члены КПСС. Это говорит о том, что, вступая в партию, вы стояли на марксистских принципах, полностью разделяя Устав КПСС. Почему же спустя два года вы стали собирать материалы для своего пасквиля «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», в котором возводите заведомую клевету на руководящую роль партии, ее внутреннюю политику?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Как видно из текста очерка «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» и примечания к нему, опубликованного в антисоветском журнале «Грани» № 120, вы при написании этой работы использовали многочисленные источники. Вам предлагается дать показания по этому вопросу.

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: В названном примечании вы указали, в частности, что приведенные материалы в очерке опубликованы в бро-

шуре-справке «О продаже и ценах на колхозных рынках», которую можно найти в спецхранах Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки ДСП № 3762». Из сообщения упомянутой библиотеки за № 22 от 8 апреля 1985 года следует, что в 1977—1978 годах вы пользовались книгами этой библиотеки, в их числе указанной брошюрой-справкой, а также другими изданиями, которые направлены в распоряжение следствия. Данные обстоятельства являются подтверждением вашего авторства враждебного сочинения «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать». Что вы можете показать в этой связи?
Ответ: Не последовало.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО:

В окна лефортовских камер вставлено не стекло, а непрозрачный, как бы покрытый морозным узором пластик — в солнечные дни в небольшой камере на троих довольно светло, и если камера на южную сторону, то заметно, как солнечное прямоугольное пятно перемещается по стене, но прямых солнечных лучей нет, самого солнца нет.

Нет его и на прогулке — стены прогулочных дворики высоки, сами дворики маленькие, с ту же камеру размером, редко чуть больше, гулять же надзиратели стремятся вывести пораньше, начинают прогулки еще до завтрака — чтобы пораньше, к обеду, «прогулять» всю тюрьму и самим пораньше освободиться и сесть играть в домино во внутреннем тюремном двореке. (И будут играть до ночи, и смеяться, и придут другие, и тоже сядут играть, и при этом станут так стучать фишками, что не дадут спать измученным обитателям тех камер, что выходят окнами во двор.)

Понятно, что утром в тюремном двореке солнце освещает только-только верхушку трехметровой стены да еще колючую проволоку, которой забрано все пространство над головой. Этот проволочный потолок в крупную колючую клетку — «небо в арифметику» — сооружение совершенно бессмысленное, поскольку на три метра все равно не подпрыгнешь, да и надзиратель ходит по мостику над головой, смотрит, но действует психологически: одного раздражает, другого давит, третьего и вовсе подавляет. Вот этой-то паучьей сети над головой и достается все утреннее солнце, о котором внизу с тоской мечтает заключенный.

Меня арестовали в марте, и первые месяцы я вообще не видел солнца. Но в начале июня установились ясные дни, прогулки случались иногда и ближе к полудню, когда солнце уже заглядывало и в глубь прогулочного дворика, и можно было скинуть рубаху и майку, и тоскующее бледное тело прямо-таки ощутимо впитывало солнечное тепло и радиацию.

Прогулка — главное событие дня.

Через пару месяцев я научился скандалить, если вызов к следователю грозил сорвать прогулку, и, бывало, добивался, что меня водили гулять и одного, если к моему возвращению с допроса сокамерники уже погуляли...

Остаток лета я провел в одной камере с весьма привилегированным узником — с сильно проворовавшимся бывшим министром из Узбекистана, и его, а значит, и нас, его сокамерников, выводили гулять поближе к полудню, — так что за лето я все же чуть загорел, и осенью в бане верхняя половина тела была чуть темнее нижней.

Говорят, солнечные лучи способствуют образованию в человеческом организме какого-то важного витамина, влияющего на целостность зубов и волос, на остроту зрения. Не знаю. Но моего тюремного загара, видно, было недостаточно: уже в декабре, когда я приехал в лагерь, у меня тут же выкрошились зубы — и один, и второй — и зрение ослабло так, что пришлось заказывать новые очки.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

гор. Москва

13 мая 1985 года

(Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начал в 10 часов 15 минут.

Вопрос: В процессе сопоставительного осмотра очерка-повести «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» с текстами использованной вами литературы при ее написании установлено, что вы, дабы придать внеш-

ную правдивость своему клеветническому сочинению, заведомо занимались подтасовкой, фальсификацией и искажением смысла этой литературы, тенденциозно подбирали выдержки и цифры из нее, трактуя их в отрыве от основного смысла того или иного источника.

Что вы можете показать в этой связи?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Так, на странице 51 очерка «Технология черного рынка...», помещенного в антисоветском журнале «Грани» № 120, вы, рассматривая вопрос об оплате труда колхозников, привели из работы Г. В. Дьячкова («Общественное и личное в колхозах» (издательство «Колос», Москва, 1968 год) следующую цитату: «В 1939 году около 16 тысяч колхозов не оплачивали труд в деньгах, 46 тысяч колхозов выдавали только по две копейки на трудодень, около 9 тысяч колхозов не выдавали зерна на трудодень», из чего сделали клеветнический вывод как о свидетельстве будто бы преднамеренной «грабительской» политики государства по отношению к крестьянам. В то время как Г. В. Дьячков говорит совершенно об ином — об объективных причинах такого положения с оплатой труда колхозников, подчеркивает, что в период становления колхозного строя это было вполне обосновано, так как во многих колхозах основным источником дохода еще оставался колхозный двор, а производительность общественного труда оставалась низкой. Поясните, с какой целью вы допустили приведенные клеветнические измышления на политику Советского государства по отношению к крестьянам?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: На странице 71 вы цитируете И. В. Сталина: «средняя выдана зерна в зерновых районах на один колхозный двор поднялась с 61 пуда в 1933 году до 144 пудов в 1937 году», указывая, что это является подтверждением тому, что будто бы «...с самого начала сплошной коллективизации, с первых дней колхозной системы «пролетарское государство» оставило крестьян на произвол судьбы...».

Как видно из сборника «Вопросы ленинизма» И. В. Сталина (Госполитиздат, 1952 год, стр. 626), эти цифры подтверждают обратное, то есть то, что продолжающийся подъем промышленности и сельского хозяйства в 30-х годах привел к новому росту материального обеспечения трудящихся. Эти цифры также являются подтверждением тому, что внутренняя политика Советского государства в указанный период времени была направлена на удовлетворение материальных потребностей тружеников села...

Вам предъявляется сборник «Вопросы ленинизма» и предлагается дать показания о цели допущенных вами извращений относительно политики Советского государства на селе.

Ответ: Не последовало.

Вопрос: На страницах 107—109 очерка «Технология черного рынка...» вы используете выдержку из книги П. Шелеста «Одна сельская семья. Штрихи к социальному портрету сельского рабочего 70-х годов» (издательство «Советская Россия», Москва, 1972 год, стр. 97) о расходах семьи Александровых на приобретение промтоваров (по автору, как свидетельство роста благосостояния в семье) и делаете клеветнический вывод о соответствии уровня жизни, уровня потребностей крестьянина в 70-х годах «...мелкотоварной, нищенской, докапиталистической форме хозяйствования, которая единственно возможна на приусадебных участках в условиях административных запретов на частную инициативу в широком масштабе, в условиях крепостнических земельных отношений, столь характерных для общества «развитого социализма».

Вам предъявляется книга П. Шелеста. Покажите, разве это не является подтверждением вашего умышленного истолкования любых данных в ущерб их объективности, с целью возведения злобных клеветнических измышлений на существующий в СССР государственный и общественный строй?

Ответ: Не последовало.

...**Вопрос:** Эти, приведенные вам, и другие факты фальсификации действительности свидетельствуют о необъективном, предвзятом использовании вами первоисточников для того, чтобы придать внешней правдивости возводимым вами заведомо ложных, клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, руководящую роль КПСС, ее внутреннюю политику. Дайте свои пояснения, с какой целью вы распространяли этот свой пасквиль «Технология черного рынка...», который

столь охотно был напечатан в журналах «Посев», «Грани» зарубежной антисоветской организации НТС, ставящей задачу свержения Советской власти и изменения существующего у нас в стране строя, и использовался другими враждебными подрывными центрами Запада в ущерб СССР? **Ответ:** Ответа не последовало.

Допрос производился с перерывом на обед с 12 часов 20 минут до 14 часов 45 минут и окончен в 16 часов 30 минут.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

В Лефортово меня много бросали по камерам, и я просидел со многими сокамерниками, арестованными по уголовным статьям. Среди них были и министр, и бывший полковник милиции, и университетский доктор технических наук, и веселый азербайджанец-мошенник, и неудачливый унылый фарцовщик. Всех их роднило одно: хотя они постоянно ругали своих следователей, своих преследователей, все-таки они их уважали — и поменялись бы с ними местами с великим удовольствием (а некоторые и занимали подобные места прежде, до ареста). Поругивали они и государственные, и общественные порядки, но в целом эти проблемы их мало занимали. Значительно больше их тревожило собственное положение.

Их мучила совесть. Но это не были высокие мучения совести, когда человек в отчаянии сравнивает свою жизнь с идеалом, — нет, это были весьма частные всплески нравственного чувства, заставляющие всхлипать и стонать: «Как я ошибся! Если бы время вернуть обратно!».

Узбекский министр хлопкообрабатывающей промышленности Вахаб Усманов, с которым я провел в камере два месяца (впоследствии, будучи уже в лагере, я узнал из газет, что он приговорен к расстрелу), в заключении совершенно опустился: то он целыми днями лежал, отвернувшись к стене, стонал, плакал, то мы, его сокамерники, должны были по его просьбе по несколько раз в день пытаться угадать, какой приговор его ждет. То есть даже не какой приговор, а какой срок — о расстреле, понятно, и вспоминать нельзя было.

Мы придумали специальную игру: по счету «три!» на пальцах выбрасывали какое-нибудь число, и Вахаб, пересчитывая мои выпрямленные пальцы и пальцы нашего третьего сокамерника, или заряжался надеждой, если выходило не больше семи-восьми лет, или впадал в полное уныние и становился всерьез зол и раздражителен, если получалось больше десяти лет. Мы старались беречь его и помногу ему не отпускали.

Его настроение сильно зависело и от того, с какой интонацией и какой по чину следователь вел последний допрос. Когда где-то там, в недрах следственного корпуса, куда его уводили почти ежедневно, с ним разговаривал какой-нибудь генерал от юстиции — скажем, начальник следственного отдела прокуратуры или его заместитель, — Вахаб возвращался в камеру веселый и обнадеженный: раз им занимается такой высокий чин, значит, ему придадут большое значение, значит, еще и он «наверху», причислен к тому же разряду, что и сам генерал, с которым он, кажется, был знаком еще на воле, — и он надеялся, что ворон ворону глаз не выклюет...

Когда же шли обычные, рабочие допросы, которые вели разные там капитаны и майоры, когда приходилось сдавать припрятанные драгоценности, принимать на себя все новые эпизоды со взятками и хищениями, он падал духом, начинал часто вызывать тюремного фельдшера, просить сердечные капли.

Если ему казалось, что дела его идут совсем плохо, он вспоминал, что отец его — мусульманин, а дед был даже духовным лицом, и начинал громко и горланно молиться. Молитвенное настроение продолжалось до следующего визита генерала. Генерал, видимо, обнадеживал, и Вахаб возвращался повеселевший, свое молитвенное состояние вспоминал с улыбкой и об Аллахе говорил чуть не покровительственно, как о знакомом министре соседней республики.

Когда Вахаб был весел и разговорчив, то особенно охотно говорил о других высокопоставленных узбеках, которые были арестованы по обвинению в коррупции и о которых он какими-то путями узнавал — через следователя или от своих поделщиков во время очных ставок, — что они тоже тут, в Лефортове. Так он, радостно потирая руки, говаривал, что

1:9

всего скорее расстреляют бывшего первого секретаря Бухарского обкома партии. «На нем пять миллионов!» — говорил Вахаб и растопыривал свою короткопалую пятерню. (Опять-таки впоследствии от кого-то из его мелких поделщиков, с кем разговорился через перегородку в «воронке», я узнал, что на самом Усманове было десять миллионов, — я представил себе две его растопыриванные пятерни.)

В камере у Вахаба было только два занятия: он или играл в шахматы — до десяти партий в день, или писал доносы, — говорят, он повязал вслед за собой человек четыреста. Доносил он на всех, кто когда-то ему давал или кому он давал. Все по его доносам оказались взяточниками и ворами — начиная от председателей колхозов, с которыми он имел дело, и кончая первыми секретарями ЦК партии Узбекистана — и умершим Рашидовым, и живым Усманходжаевым*. (Не это ли последнее обстоятельство и решило судьбу Вахаба. Генерал появлялся всегда после особенно важных доносов.)

По-русски Усманов писал и говорил плохо, и писать доносы помогал ему с подозрительной готовностью наш третий сокамерник, некий «технический интеллигент со степенью», сидевший за фиктивные договоры и взятки, каким-то образом завязанные с иностранцами. На прогулках этот «доброхот» и Усманов тихо переговаривались, отойдя от меня в дальний угол дворика, — хотя в камере мы жили довольно дружно, и передачами поровну делились, и ларек заказывали в один общий котел, — но при всем при том считалось, что я чужой. Они, — хоть и воры, хоть и провинившиеся, хоть и уголовники (так они себя, сожалея — «С кем не бывает!», — но все же сознавали) — советские люди, я же — отщепенец.

Я как-то было обиделся на их секреты, попытался протестовать, и тогда наш третий, «добровольный» усмановский помощник, спокойно объяснил мне, что, узнав содержание доносов, я могу нанести ущерб Советской власти. Я, признаюсь, оторопел. Как именно я нанесу ущерб, это он не вполне представлял себе, поскольку ехать-то мне предстояло в лагерь строгого режима, потом в ссылку...

Даже здесь, в камере тюрьмы, они были советские. Проворовавшись, ожидая приговоров, ругаясь со следователями, они были советские. А я не советский. Чем же я-то нанесу ущерб? Тем, что буду говорить, тем, что раскрою некую советскую тайну. Их тайну. Ведь и они были руководителями страны — еще так недавно были.

— Зачем это тебе нужно? — спросил как-то не то Вахаб, не то «технар».

— Что именно?

— Заниматься писаниной... В тюрьме вот сидишь...

У них в сознании как бы была картинка с фокусом: повернешь — есть человек, еще повернешь — пустое пространство, исчез человек. Так вот в этом повороте картинки, где для них мир был полон благ, в картиночном мире, где они жили до ареста распорядителями благ, в этом мире было место и министру, и следователю, и уголовному преступнику, вору и не было места мне, — и только потому, что я мог раскрыть их некую общую тайну.

— Зачем это тебе нужно?

И я действительно не умел ответить на этот вопрос так, чтобы они меня поняли. И не знаю, отвечает ли на него эта моя книга. Это ведь как повернешь картинку...

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

гор. Москва

27 мая 1985 года

(Подполковник Губинский и капитан Круглов вдвоем допрашивают жену обвиняемого Экслер Н. Е.)

Допрос начат в 10 часов 45 минут.
Допрос окончен в 16 часов 20 минут.

Вопрос: Вам предъявляется изъятый 19.03.85 г. при обыске рукописный текст, начинающийся со слов: «Дм. П. Кончаловский «Пути России»...» Кому принадлежат данные записи и кем они исполнены?

* Написано в 1987 г.

Ответ: Эти записи исполнены мной и для меня лично, с какого издания — уже не помню, так как это писалось давно.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст, начинающийся со слов: «Континент № 20. Игорь Ефимов-Московский. Политические выгоды нищеты», — и заканчивающийся словами: «...имперской стратегии». Кому они принадлежат и кем исполнены?

Ответ: Записи на некоторых листах (лл. 3, 5, 6, 8, 10, 12) исполнены мной и опять-таки для себя, так как я хотела подумать над написанным. Они оказались вместе с записями мужа, так как исполнены с одного источника. Писалось это не для использования Тимофеевым Л. М. в его работах, а для собственного осмысления.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст, начинающийся со слов: «23 апреля. Наташа! Итак, путь...» — и заканчивающийся словами: «Погуляю — и опять! Л.». Когда и кем исполнен данный текст?

Ответ: Данный текст представляет собой письмо Л. Тимофеева мне. Когда оно было написано и в связи с чем, я не помню.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст, начинающийся со слов: «Наташа! А вот еще...» Когда, кем и в связи с чем исполнен данный текст?

Ответ: Предъявленный текст мне незнаком. Когда и в связи с чем он написан моим мужем, я не помню.

В целом первое из предъявленных мне писем написано Тимофеевым Л. М. в связи с его впечатлениями от поездки на Кавказ.

Вопрос: В ходе обыска в вашей квартире 19.03.85 г. были изъяты многочисленные конспекты работ и комментарии к ним. Кому они принадлежат и в связи с чем написаны?

Ответ: Эти записи принадлежат моему мужу Тимофееву Л. М. и написаны им, но в связи с чем, сказать не могу, не знаю.

Вопрос: Во время работы в редакции журнала «Молодой коммунист» в 1976 году ваш муж был принят кандидатом в члены КПСС. В связи с чем ему было отказано в приеме в члены КПСС после окончания кандидатского стажа?

Ответ: Этот факт мне известен, но, как мне говорил Тимофеев Л. М., после какой-то докладной записки (я не помню, кто именно ее писал и о чем конкретно она была) ему было отказано в приеме в члены КПСС*. Кроме того, повлияли его несложившиеся отношения по месту работы.

Вопрос: Что вам известно о написании Тимофеевым Л. М. работ «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить»?

Ответ: Кроме того, что названные работы написаны моим мужем — Тимофеевым Л. М. и писались им дома (он ни от кого не прятался), мне ничего не известно. Каким образом эти работы были переданы для публикации на Западе, я также не знаю.

Должна сказать, что основные идеи, которые были изложены Тимофеевым Л. М. в «Технологии черного рынка...», он изложил ранее в большом очерке (я не помню его названия), который он во время работы в редакции журнала «Молодой коммунист» пытался официально опубликовать в каком-то журнале — то ли в «Новом мире», то ли в «Дружбе народов». Работу его приняли, но затем в публикации отказали. Тогда Тимофеев Л. М. сократил эту работу и сделал попытку опубликовать в другом журнале (не знаю, в каком), но там ее также не приняли. Затем он еще сократил ее до двух столбцов газетного текста и отнес в редакцию газеты «Комсомольская правда». Работу приняли, и муж был счастлив, что его идеи могут быть публично высказаны. Это он считал очень важным для общественной мысли в то время. Свою публикацию он считал нужной не для того, чтобы «приобрести на этом имя», а для общественной пользы. Однако через некоторое время и в этой публикации в газете ему было отказано. О том, что это делалось не «для популярности» автора, свидетельствует и размер предполагаемой газетной (по сути) заметки, на которой не сделаешь себе «имени», даже если бы у мужа и было такое желание. А иных целей, кроме как довести свои мысли до читателя, он никогда и не преследовал.

* Замечание обвиняемого: Наташа не почувствовала провокационный характер вопроса; на самом деле мне не было отказано в приеме в КПСС по той одной причине, что я вообще не подавал заявления о приеме в партию после окончания кандидатского стажа — в то время я уже работал над «Технологией черного рынка...», и сама работа требовала от меня совсем иного общественного поведения.

ПРОТОКОЛ
допроса обвиняемого

гор. Москва

11 июня 1985 года

(Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начал в 14 часов 25 минут.

Вопрос: Вам предлагается зарубежный антисоветский журнал «Время и мы» № 79 за 1984 год с помещенной на его страницах пьесой-диалогом Льва Тимофеева «Москва. Моление о чаше». Когда вами была написана эта «пьеса» и каким образом она оказалась на страницах названного зарубежного журнала?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В «пьесе» «Москва. Моление о чаше» описан диалог между двумя лицами — мужем и женой. Он в прошлом «известный советский журналист» и публицист, ранее писал стихи, оставил работу в редакции два года назад, за пять лет написал две книги, которые опубликовал под своим именем на Западе и в которых «исследовал» существующую в стране систему, жена у него не работает, имеет двух детей — девочек (одна школьница и носит крестик), в доме держат собаку, в личной библиотеке имеют словарь Брокгауза из 86 томов.

Вы также в прошлом были журналистом и публицистом, ранее писали стихи, в 1980 году уволитесь из редакции журнала «В мире книг», к этому времени написали и передали для публикации на Запад свой антисоветский пасквиль «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», а затем другое антисоветское «эссе» — «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности», под своим именем, в которых порочили советский государственный и общественный строй. Кроме того, у вас с женой (нигде не работающей) двое детей, из которых одна школьница и носит нателный крест, в доме вы держали собаку, а в личной библиотеке имели энциклопедический словарь под редакцией Брокгауза и Ефрона в 86 томах. Все это свидетельствует о том, что данная пьеса-диалог имеет автобиографический характер и ее автором являетесь вы. Подтверждаете ли вы это?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Что ваша «пьеса-диалог» имеет автобиографический характер, говорит и то обстоятельство, что ее герой в написанной и опубликованной на Западе книге говорит о старушке, которая молится на портрет основателя Советского государства. Вы в своем опубликованном антисоветском пасквили «Технология черного рынка...» также описываете сцену, когда старушка (Ховрачева Акулина Егорьевна) молится на такой же портрет. Как иначе вы можете это объяснить?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Героиня пьесы-диалога, болезненная женщина, ушла из журнала, где хорошо писала, нигде не работает, хорошо лепит из глины. Ваша жена — Эклер Наталья Евгеньевна — в настоящее время домохозяйка, ранее работала театроведом, писала статьи; как показала на допросе 22 мая свидетель Р-я (следуют фамилия, инициалы), лепные изделия вашей жены ей очень понравились. Кроме того, свидетель Б-а (фамилия, инициалы) показала, что ее дочери Ане было непонятно то, что Соня (ваша дочь) «носит крестик и верит в бога» (орфография подлинника). Все это еще раз доказывает то, что данная пьеса-диалог носит автобиографический характер и ее автором являетесь вы. Станете ли вы это отрицать?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: В пьесе-диалоге она говорит: «За каждое слово пророк отвечает сам, и ты готов отвечать... Вот только я забыла, пророку полагаются жена и дети? Жена и дети за что отвечают?.. Я высчитываю копейки, чтобы купить детям горсть ягод или поношенные ботиночки... Ты нами расплачиваешься... Ты не пророк, ты эгоист, мелкий, тщеславный... Ты встал в позу, ты уже придумал сообщение: «Как передают западные корреспонденты из Москвы, здесь арестован...» Вокруг тебя сияние... Ты говоришь стихами... А как же я? А дети?»

На допросе 20 марта сего года свидетель К-в (здесь и впредь в подобных случаях — фамилия и инициалы.— Л. Т.) показал, что 17 марта 1985 года вы у себя дома включали транзисторный приемник и пытались слушать зарубежные радиостанции, ведущие передачи на Советский Союз.

Свидетель Н-я на допросе 6 июня с. г. показала: «После ареста Левы Наташа говорила, что она во время работы мужа над каким-то произведением неоднократно убеждала его прекратить работу над ним, предупреждала, что это добром не кончится, однако он на ее слова не реагировал. ...Она плакала, умоляла его прекратить это опасное занятие, но все было безрезультатно. Наташа так мне говорила, что если бы Лева не передал эту книгу, то есть написанное им сочинение, за границу, то ему бы ничего не было, он нормально жил бы с семьей, а своей писаниной он добился только ареста».

Что вы можете сказать относительно приведенных вам показаний свидетелей, которые повторяют написанное вами в пьесе?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Из содержания написанной вами пьесы «Москва. Моление о чаше» видно, что вы сознавали преступный характер ваших действий, выразившихся в изготовлении и публикации за границей литературы, содержащей заведомо ложные, клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, к каким относятся данная пьеса-диалог, повесть-очерк «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить». Подтверждаете ли вы это?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В данной пьесе вы, как и в других названных выше сочинениях, опубликованных на Западе, с враждебных позиций возводите злобную клевету на государственный и общественный строй в СССР, именуя его «нечеловеческой системой» (страница 18 журнала «Время и мы» № 69), утверждая, что в нашей стране якобы действует «закон социализма: не украдешь — не проживешь» (стр. 24), общество проникнуто ложью, со стороны государственных органов будто бы чинится незаконное, допускаете оскорбления в адрес руководителей партии и правительства (стр. 11). С какой целью вы распространили столь злобные клеветнические измышления и совершили эти противоправные преступные деяния?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Совершив указанные преступные деяния и боясь ответственности за содеянное, как это видно из содержания «пьесы-диалога», вы вынашивали намерение выехать за границу, рассчитывали обеспечить свое благополучие за счет денег, добытых преступным путем в виде гонораров за свои антисоветские пасквили, и вместе с тем намеревались продолжить антисоветскую деятельность, направленную в ущерб СССР. Что вы можете показать в этой связи?

Ответ: Нет ответа.

Допрос окончен в 16 часов 10 минут.

Начальнику группы следственного отдела КГБ
подполковнику Губинскому А. Г.
от подследственного Тимофеева Льва Мих.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Вчера, 11 июня с. г., вы во время допроса грубо и некачественно идентифицировали меня, автора пьесы «Москва. Моление о чаше», с героями этой пьесы. При этом вы приписали мне те самые нравственные изъяны, которыми я, как автор, наделил литературного героя. Каждому, мало-мальски знакомому с основами литературоведения, понятно, что при таких методах анализа, когда литературное произведение понимается как самоговор автора, Достоевский, как автор «Записок из Мертвого дома», и Толстой, как автор повести «Дьявол», должны быть обвинены в убийстве, так как оба эти произведения имеют автобиографические черты.

В связи с выявившейся таким образом некомпетентностью следствия настаиваю на проведении литературоведческой экспертизы, где среди прочего должен быть выяснен вопрос о принципиальной возможности в рамках уголовного дела идентифицировать личность автора и персонажа литературного произведения.

Прошу приобщить мое заявление к делу.

12 июня 1985 г.

Лев Тимофеев

(Заявление об экспертизе оставлено без ответа.— Л. Т.)

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

15 июля 1985 г.

г. Москва

(Капитан Круглов допрашивает Экслер Н. Е.)

Допрос начал в 14 часов 00 минут.

Допрос окончен в 16 часов 25 минут.

Вопрос: В журнале «Время и мы» № 79 за 1984 год опубликована «пьеса-диалог» Льва Тимофеева «Москва. Моление о чаше». Что вам известно об обстоятельствах ее написания и насколько события, о которых упоминает в пьесе автор, соответствуют действительности?

Ответ: Автором «пьесы-диалога» «Москва. Моление о чаше» является мой муж, Тимофеев Лев Михайлович. В какое время он написал эту работу, я не помню, но работа писалась у нас дома. В этой работе действительно Тимофеев Л. М. использовал отдельные факты из своей и моей биографии. Однако в целом эта пьеса носит лишь автобиографические мотивы, и нельзя сказать, что она во всем соответствует тем событиям, которые происходили в действительности. Тем более это касается ряда эпизодов с упоминаемыми «третьими» лицами.

В связи с моим плохим самочувствием прошу допрос перенести на другое время.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Когда я при аресте уходил из дома, когда меня уводили из дома, я плохо знал, что нужно взять с собой. Жена положила в сумку мыло, зубную щетку, пару носков. Я сомневался, можно ли взять какие-нибудь книги, но кагебшник, распорядившийся арестом, сказал, что книги можно будет передать потом (и соврал, конечно). Но Евангелие я все же взял — удобное карманное издание, еще дореволюционное, с лиловым штампом «На память от Коломенского земства», оно много лет со мной было и дома, и в командировках.

Это Евангелие было у меня отнято почти сразу же, часа через три-четыре после того, как меня привезли в Лефортовскую тюрьму. Сказали, что я смогу получить его через следователя — так это у них было рассчитано...

Тогда же, при первом обыске в тюрьме, у меня отобрали маленький серебряный нателный крестик. Или даже нет, крестик отобрали не во время самого обыска, а минут через десять — пятнадцать, когда повели в баню. Обыск-то проводили младшие чины, прапорщики, которые по бороде моей, видимо, приняли меня за священника, и что-то, должно быть, дернулось в их душах, не посмели снять крест. В бане же, когда я уже стоял голый, налетел какой-то младший офицер с нарукавной повязкой ДПСИ (дежурный помощник начальника следственного изолятора), обругал прапорщиков — крестик сняли, сказали, что они люди подчиненные, что существуют положения, по которым в камере запрещены металлические предметы, но что если будет ходатайство следователя... А следователь чего ради будет за меня ходатайствовать?

Так и остался я без крестика и без Евангелия... Но все-таки следователю я об этих изъятиях сказал и спросил, нельзя ли получить обратно. В то время следователь еще, видно, надеялся установить со мной какие-то выгодные для него отношения — на каждом почти допросе он, как бы невзначай, заговаривал о людях, которые, оказавшись в моем положении, все же отделялись легким испугом, признавая свою вину и раскаиваясь, — или год-другой ссылки получали, или пару лет в психушке общего типа отсиделись — читай, пиши, получай свидания — и выходили на волю, и уезжали за границу... Вот ведь я арестован, идут допросы, а западные радиостанции продолжают передавать мои очерки и статьи, так не хочу ли я воспользоваться авторским правом и хотя бы приостановить передачи?..

Так или иначе, он написал специальное письмо начальнику тюрьмы, в котором якобы ходатайствовал о разрешении мне иметь в камере крестик и Евангелие. Но, увы, начальник тюрьмы дней через пять ответил отказом, сославшись на какие-то инструкции. Следователь как бы даже несколько огорчился... и тут же нашел выход из положения: поскольку Евангелие передано ему, он будет давать читать здесь, в кабинете...

Конечно, все это разыгрывалось как комедия. Я должен был почувствовать искреннюю душевную расположенность следователя ко мне, его готовность помочь. Он надеялся на установление человеческих отношений. Он — человек, я — человек, мы — люди. Чего же не найти общий язык?

Но нет. Это все было совсем не так. Не то, что я его за человека не считал, нет! Просто мир его был для меня за чертой. Это был потусторонний мир. Это как картинка с фокусом: посмотришь с одной стороны — есть человек, посмотришь с другой — нет никого. Пустая комната. Вот так вот в мире, где есть крест, Евангелие, молитвы — нет ни следователя, ни офицерских чинов, ни вонючих тюремных коридоров. И сама утрата (или обретение) и креста, и Евангелия не может быть связана с ними иначе как только механически — их руки забрали, по этому коридору унесли. Но суть утраты заключалась в том, что утрата мне была назначена. Точно так обретение Евангелия означало только то, что мне дано обратиться к Слову. И я обратился...

Я довольно много выписал — скажем, переписал всю Нагорную проповедь целиком и, вспомнив монашеский труд переписчиков, готов был и дальше писать и писать... Но к тому времени следователь совершенно потерял терпение, а может, и вовсе надежду установить контакт со мной, стал раздражителен, его напускная вежливость все чаще стала слетать с него, и в конце концов он сказал, что его начальство не разрешает ему более предоставлять мне Евангелие... А мне и ладно, я уже к тому времени много переписал.

Скоро же к этим листочкам переписанного Слова прибавились иные тексты, Словом вдохновенные, — я имею в виду статьи и письма В. А. Жуковского, каким-то чудом сохранившиеся в тюремной библиотеке, — и в частности, потрясающая по своей просветленности «Внутренняя жизнь христианина». И все это было дано мне в тюремной камере...

Все эти записи были со мной более полугода — я их и сам читал, и давал читать сокамерникам, и некоторые переписывали их себе и уносили с собой на этапы, в лагерь, вместе с обычными для каждого ээка бумажками, на которых начерчен план будущего дома и расчет прибыли от пасеки или теплички: каждый ээк мечтает по освобождению заняться строительством и хозяйством... И успокоится душой.

Провез я эти записи по этапу, читал их в Пермской пересыльной тюрьме и окончательно утратил только при поступлении в лагерь: там у меня забрали все мои записи «на проверку» и отобрали теперь уже не металлический, а даже кипарисовый крестик, который на этап мне передали друзья. И больше я не видел ни записей, ни крестика — через некоторое время молодой опер с сонными глазами идиота прочитал мне акт, что-де записи и крест уничтожены. «А как уничтожили?» — спросил я его. «Сожгли».

И я подумал, что это хорошо, что они так боятся и Слова, и Креста: видимо, чувствуют, что там, где Слово и Крест, — их нету. Тоже ведь понимать надо, они ведь тоже борются за выживание — слепые, слепыми ведомые...

14 июня 1985 года

СПРАВКА

Дана настоящая в том, что по имеющимся в средней школе № 2 г. Рязани архивным данным Солженицын А. И. был принят в школу с 25 августа 1957 г. (приказ Рязанского горона № 51 от 26/8—57 г.) учителем астрономии и проработал здесь до 25 декабря 1962 года.

Директор школы
Т. Варнавская

СПРАВКА

Дана настоящая в том, что по имеющимся архивным данным в средней школе № 2 г. Рязани в 1956/1957 учебном году в 9-В классе обучалась Экслер Наталья Евгеньевна, 1940 года рождения, проживавшая по адресу: г. Рязань, ул. Каляева, д. 43, кв. 1.

По окончании 9-го класса переведена в 10-й класс.

Директор школы
Т. Варнавская

Уважаемый Александр Исаевич!
Очень давно, в 1958 году, я училась в Рязани, в 10-м классе, во 2-й средней школе. В этом классе Вы преподавали астрономию.

Я помню, как Вы в первый раз вошли в наш класс в сопровождении директора школы.

Потом меня спрашивали, какой Вы?

Я рассказывала, как Вы впервые вошли в наш класс... Малость моего рассказа смущала слушателей: за ним ничего нет — учитель и плохая ученица. Спрашивали, что рассказывали Вы нам о лагере и что читали нам из своих произведений(?!!). Раздражала слушателей моя тупость — мне говорили: «Как вы могли плохо учиться у такого человека? Как можно было не понять, не почувствовать, у кого учишься?» Видимо, если бы я была отличницей по астрономии, то это бы хоть как-то уравновешивало ожидания.

Смущало и несоответствие судьбы: ведь дано же это было знакомство — ну и что? Отзвука как бы не было. Я и сама думала: зачем же это было, если нет отзвука? Для чего было? И вот как аукнулось.

Мой муж, Тимофеев Лев Михайлович, написал большой очерк о жизни русской деревни и пытался его опубликовать. Очерк вроде бы нравился, но его не брали, не взяли в одном толстом журнале, в другом. Лева показал очерк в тонком журнале, там тоже понравился, сказали сократить. Лева сократил. Не взяли. Показал в газете — там собирались сделать большую публикацию на два номера. Не пошло. Сказали сократить. Сократил, сократил. Осталось тезисов два столбца. Это все тянулось долго невозможно. Каждое сокращение через Левины муки. Я возмутилась, увидев, что в результате у него осталось. Но он сказал, что я ничего не понимаю, что важно опубликовать хоть два столбца, а потом, зацепившись за них, пройдет весь очерк, что два столбца — это очень важно, хоть ему еще не все ясно в самой проблеме.

Столбцы набрали, но уже из номера сняли, а Лева объяснили, что «наверху» кто-то сказал, что если «это» напечатать, тогда за что же редакция получает зарплату?

Лева работал в журнале «Молодой коммунист». И вот в этот момент появилась идея, что ему надо вступить в партию — он долго работал в журнале, и вроде бы неудобно уже было работать и не быть самому коммунистом — это была сторонняя идея, но он все больше и больше принимал ее — это как-то связывалось с его очерком — тогда напечатают, и вообще большие возможности что-то делать.

Его приняли в кандидаты. Кто-то из знакомых перестал звонить и ходить, кто-то сочувствовал, как больному, кто-то утешал — куда денешься? Кто-то одобрял — теперь больше возможностей что-то делать; были и официальные идиотские «разговоры по душам», «партийно-искренний» тон, как с посвященным, — и Лева искренне удивлялся, что такие вообще могут быть.

А очерк все его мучил, и какие-то проблемы, затронутые в очерке, но не решенные еще, не продуманные, все возвращали его к нему. И он замучил меня экономическими разговорами. И даже купил мне учебник политэкономии, чтобы я хоть что-то смыслила.

Ему казалось, что идеи эти носятся в воздухе, что где-то кем-то они уже высказаны, он сомневался, «не избрел ли он велосипед».

И вот только-только его приняли в кандидаты, только стали утихать разговоры об этом, споры, полное неприятие или недоумение одних, уверенность других... К нам вдруг зашла соседка по дому — она захлопнула свою дверь, ей куда-то деваться, и она попросилась посидеть у нас.

Мы недавно жили в этой квартире, никого в доме еще не знали, ни с кем не были знакомы, но эта милая соседка как-то на улице подошла к нам — ей понравилась моя маленькая Сонька, вернее, не сама Соня, а ее имя — оказалось, что у нашей соседки ее младшая любимая сестра Соня была неизлечимо больна... Потом у нас в семье отсчет времени так и значился: «Когда Гюзель захлопнула дверь».

Тогда все и аукнулось.

Поговорили о чем-то, я звала ее заходить к нам еще, но она сказала грустно, что они с мужем буквально на днях уезжают совсем... Тогда многие уезжали, и мне всегда это было больно. Гюзель сказала, что уезжать они не хотят, но вынуждены, но почему вынуждены, она говорить не хотела, разговор прекратила и затворилась уходить. Я не отставала: «Почему вынуждены?» Она сердито спросила, хоть слышала ли я, что Солженицына выслали? Но продолжать не стала и сказала, чтобы отдалась: «Я вам потом расскажу». Когда? Если через неделю они уедут? И почти вдогонку я ей сказала, что я у Вас училась. И тут все повернулось.

У нее лицо стало другим, и она сказала, что ее муж — Андрей Амальрик.

Я слышала о нем. Один знакомый рассказывал о гнусном фильме об Амальрике. Что там было? «Да все скрытой камерой, видно плохо, все смазано, тускло, но гнусно ужасно». И после этого фильма, а его показывали в каком-то институте, мой знакомый очень хотел прочесть, что же такого написал Амальрик, что за ним охотились со скрытой камерой.

Почему я тут же стала просить Гюзель познакомить Лева с Андреем? Почему я решила, что это необходимо для Леви? Не знаю. Знала — необходимо. Она отговаривалась занятостью, сборами, отъездом. Потом пообещала зайти вечером и ушла... Когда пришел Лева и я рассказала ему неожиданную новость, он страшно испугался. Сказал, что никуда не пойдет и ни с кем знакомиться не будет, что это провокация. Все подстроено. «Это не может быть, — говорил он каким-то угасшим голосом, — как ты не понимаешь, что это элементарная провокация». — «Для чего?» Я редела, и было очень стыдно, я видела, что он действительно не пойдет, не сдвинется, так и будет сидеть и повторять, что это провокация. И свет в комнате был какой-то тусклым, и струганные доски лежали на полу — Лева собирался строить стеллаж в пустой пока квартире, и тоска такая была...

Почему я знала, что надо идти? Почему он так испугался?

Заглянула заплаканная Гюзель.

Лева сказал мне: «Только на десять минут». И мы пошли. Мы пробыли долго.

Это была их тайная квартира — они ее наняли по случаю у каких-то незнакомых людей и приезжали сюда, только убедившись, что нет слежки. Здесь они были уверены, что к ним не нагрянут «с визитом», не поставят скрытую камеру.

Андрей никак не мог понять, почему Гюзель сказала мне, что они такие. Почему? После их-то жизни, после такого опыта, после всего? Как она могла сказать совершенно незнакомым людям? Ей сильно попало.

Но ведь она и не мне сказала, она просто откликнулась на Ваше имя.

Ни Амальрику, ни потом, когда перед их отъездом мы познакомились у них с Юрием Орловым, — ни ему идеи Леви не показались так уж интересны. Или идеи эти были еще не продуманы до их теперешней ясности. Но дело было не в одобрении. Здесь оказался просто важен факт знакомства, факт общения — понимания того, что вот ведь есть люди, которые позволяют себе жить и думать свободно, независимо — вот они, с ними можно поговорить, до них можно дотронуться. Но самое главное было то, что Амальрик подарил нам «Архипелаг ГУЛАГ». Так уж вовремя случился этот подарок, который и совсем освободил Лева. Вот так все аукнулось.

И Лева начал работать над «Технологией черного рынка». Теперь он додумал все до конца. Проблема была ясна, ясен механизм «черного рынка», ясен механизм советской экономики. Но его еще долго мучило сомнение, не избрел ли он велосипед, казалось тогда, что идеи эти должны носиться в воздухе и когда-то где-то должны быть уже высказаны. Но кому бы он ни показывал свою работу, об этом, главным, не говорили, предлагали свои какие-то идеи, которые казались им важнее, и советы давали от этих своих идей и словно не замечали проблем самой «Технологии...».

Муж очень нервничал. «Неужели непонятно? Не ясно?» А советы все шли и шли — от каждого свои — наболевшие, но никакого отношения к работе не имеющие. Он уже отчаялся получить адекватный отзыв... И вдруг он от кого-то узнал о Вашем очень добром, очень взыскательном отзыве о «Технологии черного рынка» — кому-то в частном письме пришел отзыв — это был самый счастливый день.

Для меня это было неожиданно, но после «Технологии», только закончив работу, Лева принял таинство крещения.

Так вот все аукнулось... И спасибо, что было мне дано быть на тех уроках астрономии, чтобы я просто помнила Вас и могла сказать, что помню.

Вот и все. Получилось так длинно, а я просто хотела сказать Вам, что помню Вас и что имя Ваше очень много значит в нашей жизни.

С уважением,

Наталья Экслер.

Примечание обвиняемого

Это письмо было написано женой задолго до моего ареста, но не было отправлено за отсутствием реальной возможности для этого. По счастью, оно не было обнаружено во время обыска, а то заняло бы свое место среди вещественных доказательств и несколько бы расширило тематику допросов — моих и жены. Но поскольку эта книга имеет характер уголовного дела, которое я сам возбуждаю перед судом общественного мнения, письмо это становится важным документом и его необходимо приобщить к другим материалам дела.

ИЗ ПРОТОКОЛА СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПО ДЕЛУ № 46/85

18 сентября 1985 г.

...Председательствующий объявляет состав суда, а также сообщает, кто является обвинителем, защитником, секретарем, разъясняет подсудимому и другим участникам процесса их право заявить отвод всему составу суда, кому-либо из судей, прокурору, адвокату, секретарю.

Подсудимый Тимофеев:

— Я хочу сделать заявление. Мое дело сфабриковано. Данный суд не правомочен разбирать мое дело. Я рассматриваю это как террор, как расправу надо мной.

Мое дело подсудно суду общественного мнения.

Я требую удалить меня из зала суда. Я не хочу и не буду виноватиться суду.

Председательствующий:

делает замечание Тимофееву о нарушении порядка в зале судебного заседания.

Подсудимый Тимофеев перебивает председательствующего и не дает возможности разъяснить права; предупрежден.

Председательствующий делает второе замечание подсудимому Тимофееву, который перебивает, лишает возможности выполнять требование УПК РСФСР о разъяснении ему прав.

Подсудимый отказывается встать, кричит, стучит пакетом о скамейку.

Председательствующий делает третье замечание подсудимому Тимофееву, нарушающему порядок в зале судебного заседания, и предупреждает об удалении из зала.

Подсудимый Тимофеев:

— Я требую удалить меня из зала судебного заседания.

Продолжает кричать...

Судебная коллегия удаляется на совещание для вынесения определения.

Определение вынесено и оглашено.

Подсудимый Тимофеев удален из зала судебного заседания...

ПРИГОВОР

Именем Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики

19 сентября 1985 г.

г. Москва

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе председательствующего Миронова Л. К., народных заседателей Калинин В. И. и Короля В. Г. при секретаре Цыганковой Т. К. с участием прокурора Дюковлева В. В. и защитника Власовой К. В. рассмотрела в открытом судебном заседании дело по обвинению Тимофеева Льва Михайловича, родившегося 8 сентября 1936 года в г. Ленинграде, русского, беспартийного, с высшим образованием, женатого, имеет двоих детей 1973 и 1980 гг. рождения, не работающего, ранее не судимого, проживающего в Москве, (следует адрес)... в преступлении, предусмотренном ст. 70 ч. I УК РСФСР.

Изучив материалы судебного следствия, выслушав судебные прения и последнее слово подсудимого, суд

установил:

На протяжении 1977—1984 годов Тимофеев в целях подрыва и ослабления советской власти проводил антисоветскую агитацию путем изготовления в Москве клеветнических, порочащих советский государственный и общественный строй, письменных материалов, которые направлял за границу для использования антисоветскими подрывными цен-

трами в проведении враждебной пропаганды против СССР...*

В судебном заседании Тимофеев допрошен не был, т. к. неоднократно нарушал порядок во время судебного заседания, не подчинялся распоряжениям председательствующего, на неоднократные замечания и предупреждения не реагировал, продолжал нарушать порядок и был удален из зала суда. Суд считает, что предъявленное обвинение нашло полное подтверждение в судебном следствии, а Тимофеев виновен в совершенном преступлении.

Оценивая содержание материалов, изготовленных Тимофеевым, учитывая определенную направленность действий Тимофеева на публикацию материалов за рубежом в антисоветских журналах и использование этих материалов для враждебной против СССР пропаганды, следует признать, что Тимофеев преследовал цель подрыва и ослабления советской власти. Совокупность изложенных доказательств дает основание сделать вывод о полной доказанности совершенного Тимофеевым преступления и правильности квалификации его действий по ч. I ст. 70 УК РСФСР.

При назначении меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность Тимофеева и обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие ответственность.

Тимофеев ранее не судим, на иждивении имеет двоих детей, до 1980 года занимался общественно полезным трудом. Вместе с этим суд учитывает повышенную общественную опасность совершенного им тяжкого преступления и считает необходимым назначить наказание, связанное с лишением свободы и ссылкой.

В стадии предварительного следствия Тимофеев обследовался стационарной судебно-психиатрической экспертной комиссией, которая пришла к категорическому заключению о его вменяемости в отношении совершенного преступления. В акте экспертизы, оглашенном в судебном заседании, подробно изложены доводы и убедительно мотивирован вывод. В судебном заседании эксперт врач-психиатр обследовал Тимофеева с учетом его поведения и данных истории болезни и дал заключение о том, что Тимофеев отдает отчет своим действиям, может ими руководить, по своему психическому состоянию может участвовать в судебном заседании. Свой вывод эксперт подробно мотивировал и представил заключение.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 301—303 и 312 УПК РСФСР, суд

приговорил:

Тимофеева Льва Михайловича признать виновным в преступлении, предусмотренном ст. 70 ч. I УК РСФСР, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет со ссылкой на пять лет с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии строгого режима. Срок отбывания наказания исчислять с зачетом предварительного заключения с 19 марта 1985 года.

Меру пресечения оставить заключение под стражу.

Вещественное доказательство — пишущую машинку «Эрика» № 4486599, как орудие преступления, конфисковать.

Взыскать с Тимофеева Льва Михайловича в доход государства судебные издержки в сумме 10 рублей (десять).

Приговор может быть обжалован и опротестован в Верховный суд РСФСР в течение семи суток со дня его провозглашения, а для осужденного Тимофеева Л. М. в тот же срок, но со дня вручения ему копии приговора.

Председательствующий

подпись

Народные заседатели:

подписи

Любимая, нет ничего — есть Ты.
Иного в этом мире не осталось.
Какая бы судьба ни ожидалась,
Любимая, нет ничего — есть Ты.
Молитвой поднимусь до высоты
Твоей.

Невидимым пребуду.

Ты не поймешь, ты удивись чуду,
А это я — из тьмы, из ниоткуда
Молитвой поднимусь до высоты
Твоей.

21 марта 1985 года
Лефортовская тюрьма

* Далее следует изложение того, что уже хорошо известно читателю из протоколов допросов. С согласия автора мы значительно сокращаем этот документ. — Ред.

Когда сплетенные рогами бычьей морды
(а если точным быть — коровы и быка)
мне в грудь мучительно и туло упирались
и было стеснено мое дыханье
и я уже терял надежду выжить
и мягко, влажно был притиснут к стенке
и сам не то мычал, не то стонал...
открылось вдруг широкое пространство
быков не стало
и меня не стало...

Соком черного хлеба отравлен, на нары запрятан,
Без свиданий, без писем — обовшивел в тоске.
На словах все известно: блаженство гонимых
за правду...

Ни блаженства, ни правды — надзиратель
в тюремном глазке,
Бычьей мордой своей упирается в грудь мне Россия —
не рогами — ноздрями, губами, слюнявой щекой
Я притиснут к стене на потеху печальным разиням...
Кто я, Господи? Прах или соли вселенской щепоть?

В этой жизни моей голос Твой как бы вовсе не слышен.
Я не то чтобы сплю, но еще не проснулся вполне.
Не вполне еще понял, что счастья не будет, что слыше
Это долгие горе как благо даровано мне.

Ничего, я готов проиграть эти мелкие войны.
Если все же влететь меня, Боже, в свой дивный узор,
Навести меня в срок, дай понять Твою вышнюю волю,
Посмотри на меня хоть в тюремный глазок.

Декабрь 1985 года
Пермская пересыльная тюрьма

ЧАСТЬ II

Вне гармонических звучаний
жесток и жесток этот мир...
Из жести кружка, миска, чайник,
вагон, собака, конвой.

Стук металлической посуды
и грохот кованых дверей...
XX век — палач, паскуда,
по горло музыки твоей.

Кровь на губах. Твои ноктурны
для жести водосточных труб
звучат по пересыльным тюрьмам:
на жести спят, из жести пьют...

И снова двор тюрьмы, машина,
конвой, шипящий жесткий свет.
Где та железная пружина,
что в жизни держит этот бред?

Да наяву ли это с нами?
Откуда слышится хорал?
Кто там кровавыми губами
тюремный снег поцеловал?

Кого уведат? Чьм объятья?
Глаза слезятся на ветру...
На металлическом распяты
Христос приварен ко кресту.

Декабрь 1985 года
Пермская пересыльная тюрьма.

11 декабря 1985 года. Письмо из зоны.

Натанька родненькая! Миленькие мои девочки! Вот я на месте и вот мой адрес, если его у вас еще нет: 618263 Пермская обл., Чусовской р-н, п/о Копально, пос. Кучино в/с 389/36. Теперь жду не дожусь ваших писем. Пишите все-все о себе, письма длинные-длинные, подробные-подробные. Чем больше подробностей, даже мелочей, тем лучше: и как каждый день у каждой из вас проходит, и во что Катька играет, и что Сонька рисует, и какие уроки задают в школе, и где в гостях были, и с кем дружите и как дружите, и как бабушка поживает, и как мамочка. Пишите все как есть — и хорошее, и плохое. И плохое тоже обязательно — чтобы и я поплакал вместе с вами. Обязательно обо всем пишете... Всякий, кто захочет мне написать, доставит мне огромную радость...

Ну что же о себе? Я сбрил бороду, и под ней оказалась

некрасивая, ну просто отвратительная физиономия — надменное лицо эпохи упадка Рима... Но вообще-то я в порядке — в соответствии с обстоятельствами. Обе Сонькины передачи в Лефортово были хороши и очень кстати — мне было тепло на этапе и я был сыт. И еще с гордостью и умилением думал, какая у меня самостоятельная девочка... Только вот беспокоюсь, Соняша, как бы тебя в другую сторону не занесло: не обижай Катьку, не обижай бабушку, не обижай мамочку. Чем быть обидчицей, лучше не быть самостоятельной. Для тебя это сейчас самый опасный грех — почувствовать себя выше других. Прости, что я назидая, но сам за тебя боюсь...

Ладно. Вот теперь мои новые просьбы: сразу по получении письма нужно выслать мне бандероль (вес до 1 кг), в которой будет электробритва и одна пара шерстяного белья. Пара — это рубашка и кальсоны, но кальсоны вообще-то у меня есть в достатке. Было бы хорошо получить две нижние рубашки, но, кажется, они по отдельности не продаются. Ладно, как получится, так и хорошо. Но именно нижнее белье — другого ничего не надо. Если останется место по весу до 1 кг — то можно положить сухофрукты, но любых не надо, а получше — курагу, что ли...

Перевели ли вы мне тогда в Москве деньги? Если перевели — хорошо, я их и сюда получу. Если нет, то пожалуйста, переведите сюда рублей 30—40. Думаю, что это последние траты, со мной связанные, — впредь постараюсь сам зарабатывать.

Теперь о свидании. Видимо, оно возможно будет уже к концу января. Но не знаю, право... Видеть вас мне огромное счастье: я все живу тем нашим свиданием в Лефортово, все вспоминаю, как Катька двигалась, что Соняша говорила, что Натанька — и всех вместе меж двух ладоней глажу — и то ведь всего-то полтора-два часа, а здесь целых три дня вместе... Но подумать о вашем путешествии — двое суток в одну сторону поездом, да еще автобусом час, как не более, — а если мороз сильный? А если с автобусами перебои? — думать о такой вашей поездке мне как-то страшно. Может быть, отложить до лета? Но, с другой стороны, что там будет летом? Кто как себя чувствовать будет? Бери, пока дают... Не знаю. Напиши мне, Натанька, как ты к этому относишься, что думаешь и сообразишь только со своим состоянием. (Да есть ли теплое, в чем ехать? Тебе-то можно было бы в моем полушубке — думаю, в этих местах его неприглядность не будет зазорной?) Пока не получу твоего письма, заявки на свидание делать не буду. Пиши.

Целую вас, милые мои, и жду писем. От Наташи, от Сони (почаще), от Кати (уже пора), от бабушки Лены (хоть одно большое — ее взгляд на детей), от бабушки Вали.

С Новым Годом вас. Кто-то будет Дедом Морозом?
И с Рождеством Христовым. Господь с вами.

Лева.

10 февраля 1986 года. Письмо из зоны.

Здравствуй, моя большая маленькая девочка! Три письма я написал отсюда мамочке, а четвертое вот — тебе. Как ты там? Ни от мамочки, ни от тебя нет ни письмишка. Что же я без ваших писем? Так, ничего, кусок тоски. Живу все воспоминаниями о нашем лефортовском свидании, и все возвращает их сознание, все возвращает. И еще во сне вас вижу. И молюсь за вас...

Оттого что нет писем, нет ощущения, что вы меня слышите, поэтому и желание поговорить в письме — а хочется-то очень, прямо всю тетрадку бы написал — желание это как бы уходит в песок... Как там моя Катенушка? Читает? Пишет? Что бабушка?.. Что твоя «художка»? Знаешь, я постоянно в сознании продельваю этот путь с тобой в «художку» — и теперь понимаю, что это были, может быть, самые счастливые часы в моей жизни — когда ты там рисовала, а я ходил вокруг, ездил по своим делам — а сознанием с тобой рядом был... Что в школе? Думаю, какие бы отметки тебе ни ставила историчка-начальница, историю надо знать на «отлично» — тем более, чем более несправедлива будет к тебе учительница. Ты просто должна стать специалистом-историком... Очень мне в жизни не хватает твоих картинок — напиши хоть словами в письме, что и как рисуешь, в какой технике, какие сюжеты? С кем дружишь и как? Где бываешь? Что матушка Анита? Что Мишка? Пиши мне, родная, почаще и поподробнее. Хорошо бы каждую неделю: встала в воскре-

сенье утром — и отчет за неделю...

Не знаю, успеет ли мое письмо к Наташенькиному дню рождения — если успеет, поздравь за меня и сделай от моего имени подарок — картинку, как мы с тобой в зоопарке гуляем (или другую какую-нибудь).

Целую вас, родные мои! Живу вами и молюсь за вас постоянно. Пишите.

Лева.

Я уже писал, что жду бандероль (электробритва, пара теплого тонкого белья, изюм, курага) и перевод (30—50 руб.) телеграфом.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Я и раньше не испытывал и теперь не испытываю ненависти ко всем этим тюремным и лагерным чинам, ко всем этим прапорщикам, лейтенантам, майорам, которые меня обыскивали, конвоировали, стерегли, загоняли в камеру или в цех, закладывали гремящие засовы и замыкали тяжелые двери. Мучали тем, что лишали необходимой теплой одежды или не давали спать, лишали писем и не давали увидеться с детьми и с женой, стремились оскорбить мелкими запретами... Нет, я никогда не испытывал ненависти к ним. Но сейчас, когда я вынужден говорить о них, я ощущаю глубокое омерзение...

Я видел, как они убивают людей... Убить сразу они теперь боится. И поэтому потихоньку, постепенно подталкивают человека к смерти... Но об этом как-нибудь после.

Они живут по ту сторону забора. Из зоны видны крыши их домов. Слышны голоса их детей и жен, а иногда громкие и нетрезвые голоса их самих, гармошка, или Пугачева, или даже тяжелый рок... Осенью из-за забора доносятся запахи уксуса и пряностей — места здесь лесные, хвойные, мшистые — видеть, тут много рыжиков и белых, и заборные запахи нам, энкам, дают знать, что там наступила пора солить и мариновать грибы на зиму.

Зимой звуки жизни по ту сторону становятся глуше, как бы утопают в сугробах — разве что долго и громко буксует застрявший где-то грузовик, и прислушиваясь, гадают эзк, не нашего ли брата, заключенного, вез воронок, и вот теперь застрял, и коченеет теперь человек в промерзшей клетке — и за час, за два задубеет совсем, пока выволокут машину трактором и погонят дальше.

Если встать на кучу шлака, которая к марту поднимается возле котельной на промзоне, то можно увидеть детей, катающихся на санках и на лыжах, женщин с детскими колясками... Но долго на куче шлака стоять нельзя. Могут заподозрить, что ты изучаешь местность за забором, готовишься к побегу. Несостоявшемуся «шпиону» Диме Д-му (восемь лет строгого режима, из них три — тюрьмы — якобы за попытку шпионажа в пользу неопределенной иностранной державы: служба в армии, фотографировал любительским аппаратом в расположении части, вину свою признал и получил всего восемь лет, ниже низшего срока, предусмотренного соответствующей статьей) — так вот, Диме даже приписали попытку побега — за то, что он залез на кучу шлака, от которой до ближайшего забора-то добрых метров семьдесят, — залез и смотрел оттуда на волю, смотрел, оторваться не мог... Диму вообще в то время сильно прессовали за то, что он подпал под влияние одного известного христианского активиста, стал молиться перед сном и перед едой. А молитва и крестное знамение доводят ментов прямо до полного бешенства. Но это другое.

Попытку побега Диме приписали зря. Бежать тут некуда, да и невозможно, да и никто никогда не пытался. Нет, не побега нашего боится менты — боится, что хотя бы взгляд за забор убежит, а с ним и душа хоть чуть освободится.

Это так положено: держать в плену не только тело, но и взгляд. Здесь не хватает горизонта: взгляд все время упирается в высокий трехметровый забор из кривых грубо побеленных досок — справа беленый забор, слева забор, сзади, спереди — кругом забор. По верху забора еще и путанка проволоки под высоким напряжением. За забором видны верхушки ближайших перелесков, и в первое время по приезде в лагерь после тюрьмы и на эти-то чахлые елки да березки глядишь — не наглядись. Кажется, — в этих перелесках жизни куда больше, чем в крышах поселка, где, должно быть, единственное двухэтажное здание — казарма роты охраны, — оттуда целый день раздаются марши, строевые команды и учебная стрельба... Если Дима побежит, они его поймают.

И только в одном месте за забором — там, куда летом садится солнце, на северо-западе — виден далекий холм, покрытый редким вырубленным лесом. Туда-то по вечерам и ходит погулять тоскующий взгляд ээка — и больше некуда, кругом все побеленный забор — и сегодня, и завтра, и на пять, и на десять лет — все один и тот же забор. Кругом забор. Куда ни помотришь — забор. Перед забором — запретная зона, «запретка», ряд колючей проволоки, за которой, еще и до забора не дойдешь, — смерть твоя: по ээку, вышедшему на запртку, охрана стреляет без предупреждения.

Я — советский политзаключенный. Когда меня вызывает начальство, то, входя в кабинет, я обязан представиться: «Осужденный такой-то... статья такая-то... срок такой-то...» Срок у меня — шесть лет лагерей строгого режима и пять лет ссылки... Шесть лет забора.

По углам зоны, высоко на сваях над забором, торчат четыре будки — в них круглосуточно, каждые два часа меняясь (а в морозные дни чаще), дежурят автоматчики. Оружие у них новое, вороненое, хорошо чистенное и смазанное — оно выглядит живым и современным на фоне мертвенной побелки забора и возле тусклых, каких-то потусторонних лиц самих автоматчиков. Оружие — барин, а эти — его холопы... Большинство из них — должно быть, восемь из десяти — из Средней Азии или с Северного Кавказа, или из Тувы, из Бурятии. Одевают их плохо — видимо, чтобы не уснули на вышках, — и поэтому в морозы они постоянно пляшут, громко стуча сапогами по дощатому полу вышек — так громко, что мешают спать в карцере — он расположен под одной из вышек... Так и живем мы под стук сапог да под строевые песни из-за забора.

Но еще и кроме забора меня охраняют. Я под надзором. Ежедневно меня четыре или пять раз обыскивают, обшаривают карманы брюк и бушлата, залезают за голенища сапог, заставляют снять шапку, заглядывают под подушку в спальной секции, под матрас, даже полотенце на спинке кровати перетряхивают.

Обыскивают надзиратели-прапорщики — вдвоем, втроем, — офицер рядом стоит, смотрит, а в спальной секции и сам лезет в мою тумбочку, роется в письмах — полученных и написанных для отправки, — лезет рукой глубоко в вату матраса... Глаза тусклые, сонные или красные с помелья...

Идешь на работу — обыск, на обед — обыск, с обеда — обыск, с работы — обыск. Приходишь с работы в секцию и узнаешь, что без тебя и тут шмонали и вся тумбочка перерты, книги, тетради — все на койку выброшено, заправленная, было, постель разворочена...

Сюда на зону из тюрьмы меня привезли поздней ночью, и хотя приехал я сюда после девятимесячного содержания в камере, после этапа и пересыльной тюрьмы — и всюду были постоянные обыски, изъятия, запреты — и здесь меня тщательно, догола раздели, обыскали, отняли, отметили еще какие-то остатки домашних вещей. Здесь ничего с воли не положено. Входишь в зону голый. Одежду, обувь, шапку — здесь дадут, здешнее, форменное... И спустя много месяцев, перед тем как объявить мне об освобождении, меня снова завели в дежурку внутрилагерной тюрьмы, раздели догола и снова обыскали, только теперь отметили то, что у меня в лагере запаслось дорогого мне, — записи, письма, книги, прочитанные, с пометками на полях.

Иногда, когда оглядываешься назад во времени, кажется, что и держали-то здесь только для того, чтобы постоянно обшаривать, ощупывать, оглаживать — словно для этого мы и нужны были им, чтобы постоянно быть у них под рукой для удовлетворения этой их омерзительной потребности — ощупать, залезть к тебе под мотню... Я все время ощущал себя в плену у мерзавцев. Зачем я им нужен был? Что они искали? Почему они держали меня за этим забором с автоматчиками, с собаками, с обшаривающими мерзавцами? Неужели только за то, что я позволил себе думать и писать?.. Меня арестовали дома, в Москве, утром 19 марта 1985 года. Дети и жена спали. Я ходил гулять с собакой, по пути зашел в магазин. У меня гостил мой давний знакомый, и я купил довольно много всего к завтраку — и с полной сумкой в одной руке, с поводком, натянутым собакой, в другой, — я и вошел в подъезд. Тут-то они меня и ждали.

Собственно, в тот момент, когда я вошел в подъезд, здесь никого не было, но едва за мной закрылась дверь, тут же изо всех темных углов, из ниши под лестницей, от лифта — отовсюду вдруг появились люди, и на площадке, наверху того пролета лестницы, по которому мне предстояло под-

няться к лифту, стоял их начальник. Я был внизу с покупками и с дворнягой Тютей и смотрел на него вверх. Мне предстояло подняться к его ногам... Я пошел к почтовым ящикам и стал доставать газету, достал, плохо соображая, но все же просмотрел...

«Здравствуйте, а мы к вам...» Тут только я сделал вид, что его увидел. Но это была, конечно, слабая игра. Их было человек пятнадцать. Группа задержания. Я был особо опасный государственный преступник... И они вошли, втиснувшись в два лифта. И потом вошли, втиснулись, черным потоком влились в двери квартиры, в судьбу моей семьи. Младшая дочь, четырехлетняя Катя, обрадовалась: сколько гостей сразу!

Нет, у меня нет к ним ненависти — только омерзение.

22 февраля 1986 года. Письмо в зону.

Папа! Я пишу тебе самое плохое: мама больна. Может быть, ты еще в Москве на свиданиях заметил. Мама больна, и позавчера ее тетя Катя и дядя Витя отвезли в психоневрологический диспансер. У мамы расстроены нервы. Она в диспансере пробудет два месяца. Сегодня у нее была бабушка. Вчера приехала матушка Анита, и мы с ней завтра пойдем в церковь. Вчера, сегодня, завтра...

Мама написала для меня письмо. Просила приехать, но нельзя, детей не пускают.

Мы с бабушкой, все в порядке. Катя сейчас играет с соседским Левой у нас.

Папа! Бандероль мы отправить не могли, так как мама спрятала письма и не давала мне прочитать. И я ничего не знала...

Теперь школа. Все в порядке. Сегодня мальчишек поздравляли с днем Советской Армии. Игры были одинаковые, их девочки всем купили. Игры для дошкольного и младшего школьного возраста. Это шестиклассникам! С уроками все в порядке.

Художка. Все нормально. Сейчас рисуем композицию на космическую тему, на конкурс в Австрию (международный). Я делаю смешную «Планету летающей посуды», где инопланетяне летают в посуде: в кастрюлях, в утятницах, в сковородках и в ложках.

Все в порядке.

Катя здорова, поет мало. Писать, читать не собираются. У нее шатаются два нижних зуба — первые!

Папа, ты волнуешься, что письма не дошли. Но они идут долго, свое первое письмо я написала через неделю после получения твоего первого.

Матушка Анита отправила тебе письмо и открытку. На всякий случай повторяю главное: могу ли я сама с кем-нибудь приехать на свидание в весенние каникулы, хочешь ли ты, чтобы это было личное свидание, тогда уточни число. Сразу же перечисли, что можно и нужно везти с собой — так, чтобы после свидания тебе передать. Если личное, что специально ты хочешь из еды?

Катенька уже спит.

Мы тебя целуем.

Соня.

(Приписка в том же письме взрослым почерком.)

Левушка, еще раз не волнуйся за Наташу, сейчас уже гораздо лучше, хуже было все это время без помощи. И для детей, и для тебя сейчас так лучше, ты уж поверь. Очень много тебе писала, надеюсь, что получишь. К сожалению, потом такого «урожая» не жди, без меня одна Сонечка так не раскачается — придется довольствоваться малым. Береги себя. Это главное. Не знаю, можно ли тебе давать телеграммы, но попробую. Дело в том, что хочешь запросить относительно бандероли... Привет тебе от бабушки, она очень много помогает все это время.

Целую,

Анита.

5 марта 1986 года. Письмо из зоны.

Родные мои, любимые! Получил, видимо, все ваши письма... То, что Наташу положили в больницу, внесло ясность в мои представления о вашей жизни, до сего дня мучительно неопределенные. Что же делать, все надо принимать, как есть. Милая наша матушка Анита, спаси тебя Господи с твоей добротой. Пиши мне не обязательно заказные — пока вот получаю. Конверты и бумагу не присылай — все есть... Разговор о свидании не актуален, вер-

немся к нему несколько позже...

Если еще не отослали бандероль, то нужда в теплых вещах отпала, — по крайней мере, до следующей бандероли (через 6 месяцев). Не горюйте, не так уж это и важно. Я ничуть не мерз, все есть и без того...

Что же еще? Сонюшка, письма твои хороши, но только тогда, когда ты не просто пишешь: «в художке в порядке», «в школе нормально»... Теперь, когда мамочка в больнице, пиши особенно подробно и часто — но уж раз в неделю — обязательно! Привет не передаю персонально, но само собой разумеется, тем, кто вам помогает, мой поклон и признательность — и родным, и соседям, и друзьям.

Целую вас, родные мои.

Пишите, пишите и пишите.

Лева.

19 марта 1986 года. Письмо в зону.

Дорогой Лев Михайлович!

Пишу тебе, наконец, узнав недавно адрес. Должен кое-что сообщить. Может, ты это знаешь, а скорее — нет.

Дело в том, что Наташа очень сильно больна, причем — давно. Сейчас она уже три недели в психбольнице, будет там еще месяц. Дело идет на поправку, она начала набирать вес, врачи надеются, что все будет в порядке. Попав в больницу, она снова стала общительной, радуется встречам, любит вспоминать Озеро. Мы навещаем ее регулярно, она много и охотно ест, разговорчива. Нормальна во всем, кроме двух «пунктов». Об этом подробнее.

В этот, столь неприятный для нас год мы общались с ней вплоть до лета, поддерживали ее, как могли. А потом она исчезла. Не звонила, не открывала дверь. Мы думали, она уехала. Увидели ее только раз, в сентябре, она была очень холодна, замкнута. Потом опять был большой перерыв. Соня и Катя приезжали в гости довольно часто, но она сама от общения уклонялась. И так было до начала марта.

Теперь о болезни. Сначала, не в силах жить с тем горем, которое на нее свалилось, Наташа вытеснила из себя сам факт твоего преступления закона и она вообразила, что все это большая игра, в которую втянуты буквально все, эти все морочат ей голову, а на самом деле у тебя все хорошо, ты где-то счастлив со своими друзьями и родственниками. Отсюда настороженность ко всем, самоизоляция, мрачное одиночество, нарастание вражды к тебе.

В таком состоянии она была на суде и после. Ты с ней во время свидания в Лефортове виделся уже с больной. Ничего не знаю о вашем свидании, но вышеизложенное прими за факт. Наверное, свидание было не таким, каким должно было быть.

В конце декабря она пыталась вскрыть себе вены, но все, к счастью, обошлось. Дети в это время были под Вологодой у матушки Аниты, а Наташа, очнувшись, под Новый Год бросилась туда, хотя вначале собиралась приехать к нам. Уехала налегке, но, Бог хранит, добралась благополучно, даже не заболела. Кинулась она туда под воздействием галлюцинаций: видела девочек мертвыми, трусила. Девочки, естественно, были в порядке, она вернулась и — пошел новый этап болезни.

Вытеснив тебя и то, что с тобой произошло, из своего сознания, она должна была найти себе другую поддержку. И нашла. Появилась мысль, что жив ее отец и его надо найти. С этой идеей она приставала к Елене Николаевне, с которой возобновила отношения, ранее прерванные. И вот в конце февраля она стала проявлять свою ненормальность уже перед посторонними: приставала к какому-то старику в вашем доме, уверяя, что он — ее отец.

Елена Николаевна и до этого считала, что ее надо лечить. А тут, при помощи соседки, ночью, ее отвезли в психиатрическую больницу (обычную, у метро «Калужская»). Там мы ее и увидели в первый раз с сентября, слабую, худую, постаревшую, но какую-то успокоенную. Условия у нее хорошие: чистота, врачи внимательны. Поговаривают о назначении ей пенсии на год. Она была общительна при нашем свидании, но насчет тебя и папы несла чепуху. Путалась в противоречиях и не могла из них вырваться.

Через неделю, 8 марта, она была уже много лучше, но оба «пунктика» были при ней. Хочет лечиться, стала лучше относиться к врачам. Ждет встречи с детьми, собирается «прибраться в доме», то есть все привести в порядок (до этого была разруха).

1517

Девочки с бабушкой Еленой Николаевной. Она (бабушка) от ответственности и внутренней энергии даже помолодела. Хозяйничает, суетится. Представляешь? Но настоящей глава дома — Соня. (Лева, в своем воспитании ты был совершенно прав.) Она очень повзрослела, командует в доме ответственно и разумно. Ходит на занятия в художественную школу, хорошо учится, не более (не время). Катя стала совсем большой красивой девочкой — общительна и кокетлива. Пока в доме есть все. Не беспокойся.

Зная твои письма, Лева... О свидании с Наташей и детьми ты пока не думай! Ей нужно поправиться. Не думай... Наверное, она скоро выздоровеет, за детьми мы непременно присмотрим. Да и за ней тоже.

Елена Николаевна написала письмо на Съезд с просьбой о послаблении тебе. Результатов пока нет.

Главное, береги себя, не делай новых глупостей!!!

Целую! И целуем!!!

(подпись неразборчива)

Конец марта 1986 года. Письмо из зоны.

Родные мои, любимые девочки! Как вы там? Натанька, солнышко мое, ты-то как там? Все время думаю о тебе. Что же ты, родная моя? Как же это душа твоя так затуманилась и от меня отдалилась? Возможно ли? Ведь я давно уже на многое в этом мире смотрю твоими глазами, а уж о себе самом — точно в твоих понятиях думаю. Ты — жизнь моя. Видно, все-таки как-то душа твоя замерзла и плохо меня ощущает, если такое отдаление, отдаление было возможно. Но я, родная моя, уверен, еще потеплеет у тебя. И молось, и верю, что так будет... Может, напишешь? Не надо много — хоть 2—3 строчки.

Получил я от вас и еще письма, и бандероль, и деньги. Хорошо! Больше всего меня порадовала катюкина песенка — хожу и пою себе: «Жили были два кота, съели каши два горшка», — и вроде бы все у меня прекрасно, пока пою. Жаль только, песенка короткая, быстро кончается. А поэтому, если хотите, чтобы мне жилось лучше, шлите еще и еще катюкиных песенок...

Милая наша матушка Анита, спасибо и за письма, и за бандероль, и за деньги — да только ли за это! Бандероль замечательная... Спасибо, что заботишься о детях...

Что же о себе? Живу. Здоров. Теперь, после бандероли, в пределах обстоятельств никаких материальных нужд нету. Все нормально. Голова постепенно возвращается к мыслям о XVIII веке, о Радищеве, о Пушкине. Начал читать об этом... Но душа занята только вами, родные мои. Что там бабушка Лена? Я очень хорошо понимаю и чувствую, что весь дом на ней, и сил, видимо, не остается... Поклон ей низкий.

Лева.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

В лагере надо жить. Надо выжить.

Как бы ни было у тебя на душе, надо утром выйти на улицу и сделать зарядку. Надо обтереться холодной водой. Надо улыбнуться товарищам и сказать им: «Доброе утро!» Надо отойти в сторонку и прочитать молитву.

Надо жить. Надо выжить...

В лагере не было голодно. Но пища была грубая, тяжелая, однообразная — каши да каши да капуста. Свежего, витаминного — ничего. И поэтому с первой весной, с первой травкой начиналась охота за витаминами. Лучше всего в ход шла крапива — ее на зоне было довольно много по подзаборным окраинам... Но тоже ведь все становится проблемой.

Чтобы нарвать крапивы, нужно время — хоть пять минут. А когда? Если ты на промзоне в цеху за станком работаешь, то в рабочее время не уйдешь, менты заметят, составят акт о нарушении — либо ларька лишат, либо очередного свидания, либо наберут три-четыре акта и в карцер посадят... Так когда же за крапивой? Если начался перерыв на обед — все. Построились и пошли... Значит, все-таки надо как-то исхитриться, чтобы в рабочее время незаметно, когда мент отлучился, рискуя, выскочить да в дальний угол промзоны смотаться, да нарвать свежих верхушечных листьев — в носовой платок завернуть да в карман спрятать, а лучше в тот же платок да в сапог, чтобы на шимоне по выходе с промзоны не отобрали — в сапоги все же не каждый раз залезают.

Если все это удалось, если горстка крапивных листьев в платке — тут тоже свои заботы начинаются: при съеме на обед вставай в строй первым — надо успеть пораньше до

барака добежать и за те пять минут, что до звонка на обед остаются, успеть кипятком из титана крапиву ошпарить, обжигаясь, тут же ее порезать, в кружку сложить, — тут и сигнал на обед. Но крапива уже готова — ароматная, крепкая зелень — хочешь, в суп клади, а хочешь, со вторым, где каша да два-три крошечных кусочка мяса, как две-три строгалинки от бефстроганов...

Ели мы и цветы одуванчиков. Просто срывали головки и жевали. Они сладкие и нежные.

Пытался я как-то сделать салат — из подорожника, мать-и-мачехи, листьев одуванчика и крапивы. Было не то, чтобы очень вкусно, трава есть трава — но зато зелено и свежо... Но больше я такой салат не делал, потому что оказался он очень сильным биостимулятором. А в лагере тоже не всякую энергию стимулировать надо.

Ближе к осени удавалось иногда набрать горсть рябины — хотя то, что на ветках, раньше нас птицы оклевывали. Нам же доставалось уже то, что на земле, в траву осыпалось. Ничего, горсть наберешь, помоешь — сладость!

Были на зоне и грибы. В одном месте на промзоне рядовки какие-то, в другом, недалеко от столовой, можно было молодых навозников набрать, в третьем, возле ментовской дежурки, луговых опят. Но грибов, понятно, было совсем немного — за лето раза три удавалось нам небольшую кастрюльку потушить — мы их тушили с луком и заливали разведенными в кипятке плавленными сырками, которые иногда случались в лагерном ларьке...

Вообще-то рассказывать обо всем этом немного нелепо — нам со всякой этой крапивой и грибами сильно повезло — на других зонах ничего этого нет: голая земля, асфальт. У нас же зона была небольшая, но довольно зеленая — десятка, наверное, три или четыре деревьев, много травы, которую осенью мы, эски, косили после основной работы на производстве — в порядке работ «по благоустройству территории». Куда шло сено — неизвестно, куда-то его за зону увозили.

Но была в зоне и своя живность: на отдельной территории, за особым забором — небольшой свинарник голов на пятьдесят. Хозяйничал тут литовец Генрих Яшкунас — человек, фанатично преданный всякой живой твари (он был «истинный» марксист, уже многолетний эск — и не по первому сроку! — сидевший за то, что обличал правящих марксистов как «неистинных»). Преданность Яшкунаса делу (не марксизму, а свинарнику) постоянно создавала какую-то напряженную атмосферу вокруг свинофермы. Дело в том, что обычному эску на свиней решительно наплевать — хоть они все передохни, — тем более, что мясо шло за зону на ментовское потребление. И, бывало, у работающего Яшкунаса с ленивыми помощниками доходило чуть не до драки...

Работа на свинарнике, со стороны-то глядя, и мне нравилась, и, когда пошел слух, что Яшкунаса увозят — его срок уже к концу шел, — я начал интригу через тогдашнего очередного яшкунасова помощника — чтобы он сказал по начальству, что вот-де есть человек, который не прочь... Но интрига была грубо пресечена: уполномоченный КГБ, мордатый мужик с тонким бабьим голосом и бабьей же задницей — фактический безоговорочный начальник зоны, перед которым и майор-начальник вытягивался и честь отдавал, а прапорщики и вовсе деревенели, — вот этот вот самый уполномоченный, без которого ничья судьба в лагере не решалась, сказал тому моему ходатаю, что меня на ферму пускать нельзя: «Этот писатель начнет мемуары писать». Как же они там с этой фермы воровали, если он боялся и через много лет (да еще выживу ли!) каких-то разоблачений.

Все-таки слово — великая сила! Вон как в страх-то вгоняет. Но и страдать за него приходится — не попал я на ферму, куда и шел только потому, что там, за тем же заборчиком, еще и тепличка была, да и вообще было это место чуть подальше от ментовского глаза, а значит, летом можно было бы и грядку свою вскопать и посадить что-нибудь, — у человека, держащего тепличку, и семена были... Ничего, заел я эту свою беду горстью рябины, да и забыл про нее. Тем более что скоро меня и раз посадили в карцер, и другой, и третий, а еще раньше и длительного, трехдневного свидания с семьей лишили — и пошли прессовать по всем здешним правилам, а там и вовсе на четыре месяца упрятали в ПКТ (помещение камерного типа — читай: внутрilaгерьная тюрьма) — и вышел я зимой оттуда «тонкий, звонкий и прозрачный», и сил уже не было на свинарнике работать, хоть бы и поставили...

Но нет, все равно надо было каждое утро вставать на

зарядку. Обтираться холодной водой. Улыбаться товарищам. И ждать весны, чтобы сорвать первый пучок крапивы.

В лагере надо жить. Надо выжить.

2 апреля 1986 года. Письмо из зоны.

Сонюшка родная, девочки мои любимые — и маленькие, и старенькие. Письма ваши — не знаю, все ли, — но получаю регулярно. Меня они и огорчают, и радуют. По письмам чувствую, что хоть и тяжело вам приходится, но ничего, тяните. Так ли? Как там бабушка Лена справляется — дай ей Бог силы и здоровья! Единственное, чего не хватает в твоих письмах, Соняшка, — подробностей о Наташе. Как она там? Что говорят врачи? Впрочем, в последней открытке есть обещание написать побольше. Подожду... Но я все получаю письма — и от тебя, Соняшка, и от мамы Аниты, и даже вот от Леши получил письмо (получил и, читая, почувствовал, что становишься слаб на слезы, — если не заплакал от радости, то был близок к тому...) — так вот, от вас получаю, а вам о себе — ничего... Ну что же, родненькие мои девочки, попробую вот о себе побольше.

Что же я? Я совершенно здоров... Когда я впервые обрил бороду, то показался себе очень старым и противным — может быть, потому, что борода — это «грим» значительной, вернее, значимой, старости, а тут значительность сошла с бородой и мыльной пеной, а старость осталась, и было непривычно. Но ничего, теперь я к этой физиономии в зеркале привык — вполне в соответствии с возрастом и положением. Даже и не такой уж старческий кажется. А когда бабушка Анита прислала такую замечательную электробритву и я гладко и без раздражения выбрит — то и вовсе спокойно гляжусь в зеркало... Я сыт. Питаюсь не хуже, чем в подмосковном пансионате «Чайка» (хуже, чем там, я вообще никогда и нигде не питался!). Одет достаточно тепло, а после матушкиной бандероли — уж тем более не замерзну. Да и наступила весна... К слову, климат здесь прекрасный, здоровый. И воздух чистый, уральский...

И уж тем более вы не должны тревожиться за мое душевное здоровье. Словом, я здоров вполне. Жизнь должным образом упорядочилась. Ежедневно я стараюсь часа по два заниматься. Читаю по-английски. Можно даже сказать, занимаюсь английским серьезно — и после стольких лет перерыва занимаюсь с неожиданным удовольствием — видимо, мои занятия русским языком дали и новый вкус к английскому. Вообще за последний год я очень много читал — от Гомера до Леви-Стросса... Последнее, что прочитал — в сборнике английских пьес (на английском), который, к сожалению, был у меня на руках всего несколько дней, с удовольствием прочитал семейную драму того Шеффера, который написал и нашумевшую пьесу о Моцарте — ту, что так не понравилась мне у Товстоногова. Но все же, прочитав, подумал: вам бы, милые, их проблемы семейные! Сейчас наслаждаюсь Шервудом Андерсоном (на английском же) — вот безоговорочно прекрасный писатель, но до Чехова, понятно, сильно не тянет...

Книги я здесь могу получать только через книжные магазины — наложенным платежом. Правда, здесь возможности довольно широкие, в принципе можно получить книги из любого магазина страны — скажем, я недавно получил толковый английский словарь Хорнби (не большой, к сожалению, как я запрашивал, а учебный, но для моих нынешних нужд пока и этот хорош). Но, понятно, не все доступно. Вот очень бы нужен недавно вышедший томик Романа Якобсона (кажется, в «Прогрессе»), но понимаю, что дефицит, и не знаю даже, какой магазин мог бы выслать. Но вместе с тем, скажем, «Контексты» или «Проблемы структурной лингвистики» и многие другие хорошие книги сюда поступают регулярно. Словом, книги есть, а значит, и есть, что делать, а поэтому я исподволь начинаю подбираться к пушкинской теме...

Пишите, пожалуйста, нет ли пропуска в ряду моих писем (они пронумерованы все), и возьмитесь нумеровать свои. Целую вас, любимые мои! Обо многом, Соняшка, хочется еще сказать тебе, но это уже в следующем письме.

Л.

5 мая 1986 года. Письмо из зоны.

Девочки мои любимые! Вот горькое известие: мне было объявлено, что я лишен длительного свидания — то есть того самого, о котором так мечтал и на которое ждал вас

всех. Не то, чтобы этого нельзя было предвидеть... но все равно горько. Так что ехать вам не надо. Понимаю, что вас это тоже огорчит, но что же делать, если за все, что происходит в моей жизни, огорчениями и горем приходится вам расплачиваться. Что же делать... Как ни трудно, а будем учиться все принимать с благодарностью — даже и само горе... Что же писать... Живу. Работаю. Зимой работал кочегаром, сейчас вот ремонтирую те печи, которые топил зимой. Впрочем, пришлось на несколько дней затопить снова, так как после десяти дней совершенно летней (до +25°) погоды задул северный ветер, выпал и лежит снег... Ладно, что-то не пишется мне сегодня... Как ты там, Натанька, горюшко мое? Соняшкины письма весьма информативны, спасибо, родная, — последнее было о посещениях Наташи в больнице...

Катечка любименькая, читаю я с огромным удовольствием и то, что ты мне пишешь, и следующее свое письмо я напишу тебе, а пока вот: ПАПА ОЧЕНЬ ЛЮБИТ КАТЮ.

Целую вас, родные мои.

Лева.

28 мая 1986 года. Письмо в зону.

Левонька, миленький, родненький!

Вернувшись из больницы, я увидела совершенно измученную, землистого цвета бабушку, совершенно издерганную Соньку и Катю, которая затаенно, постепенно, не сразу поверила, что я — это я — ее мама. На другой день она старалась привести в дом всех своих подружек — показать, что у нее есть мама. Если кого-то нельзя было привести, она стояла под окном и кричала: «Мама!» — я выглядывала в окно, и этого ей было достаточно.

С Сонькой была просто катастрофа: после твоего ареста у нее немедленно пропал цвет в работах, было все грязно и тускло, работала еле-еле. Потом пропала линия. Я не знала, что делать, не знала, надолго ли это. И не знала, чем помочь ей. Да и не могла я раньше ей помочь ничем. Сейчас уже все чуть сдвинулось. Делаю ей хвойные ванны. Она поспокойнее. Возвращаются и цвет, и линия. И ее все это радует. Она уже чувствует каждую удачную свою работу, и это ей в радость, и спокойствие, и в удовольствие, но все же приходится заставлять.

Не знаю, что писать тебе. Даже сердце болит от невозможности написать все-все. Да и физически после больницы писать очень трудно. Похожу по квартире и опять пишу строчечку.

Письма твои получила все. Идут они примерно две недели.

Посылаю тебе Катюшкины песенки. Она все поет и пританцовывает. И научилась кататься на велосипеде. Научилась очень быстро и была счастлива. Вчера был ее день рождения.

Начала писать 26-го мая, а сегодня уже 27-е. Отправлю, не дописав про день рождения, а то прособираюсь. Уже хорошо, что писать начала, а то после таблеток больничных писать очень трудно.

Целую, миленький.

Наташа.

Уже 28-е — иду опускать тебе письмо и поведу Катюшку в поликлинику — оформлю ей медкарту для школы — пойдет в подготовительный класс, а то ей дома скучно.

Писать тебе — так странно, я будто бы и не расставалась с тобой — ты рядом и все знаешь и без писем.

Целую.

28 мая 1986 года. Письмо в зону.

Дорогой Лева,

с огорчением узнал, что твои девочки к тебе не едут. Жаль, потому что ты бы порадовался за них и успокоился — как порадовались и успокоились мы, когда приехали поздравить Катюшку с днем рождения. Праздник удался на славу — было много детей, и торт со свечками, и масса всяких иппуных лимонадов, и, главное, обстановка праздника — улыбающаяся Наташа, красавица Соня в вышитой белой блузке и красной юбке — невеста из гоголевской сказки! Елена Николаевна на кухне в боевой готовности. В доме чисто и светло, книги и рисунки Соняшки на стенах... Пишу тебе не для того, чтобы «отчитаться»,

а чтобы ты почувствовал изменившуюся атмосферу дома, связанную в первую очередь с улучшением Наташиного состояния. Впрочем, она, надеюсь, тебе сама напишет. Забыл сказать, что наш Алешка с восторгом и завистью изучал Социны дипломы и медаль из Японии. Ты знаешь о них? За конкурс рисунков.

Письма твои читал...

Держись, Лева. Желаю тебе мужества и сил. И здоровья — это тоже важно. (Насколько это может от тебя зависеть, говоря твоими словами, «по обстоятельству».) Все тебя помнят и присоединяются к моим пожеланиям. Домашние тебе кланяются.

Жму руку.

Алексей.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Вот они выхватили тебя днем с работы, наскоро приговорили — минутная формальность — и, захватив в жилом бараке твою кружку и ложку, вдвоем, втроем обступили, повели, потащили.

И все встречные знают, куда тебя ведут. Спрашивают: «Сколько дали?» «Тринадцать». Тринадцать суток ШИЗО (штрафного изолятора), карцера.

Это в зоне еще особая зона. За нашими заборами еще особо забором выгорожена. Совсем глухо отгорожена от мира. И домишко слепой — на окнах деревянные бельма повешены.

Темная камера. Стены — грубо застывший наляпанный бетон, бетонная «шуба». Холодно. Сыро. Стены сырые, с потолка капает, и на полу вдоль наружной стены собирается лужа... Голые нары — и те днем подняты к стене, закрыты на замок. Днем — от подъема до отбоя — сидеть можно только на бетонной тумбе с деревянным кружком-сиденьем, и облокотиться можно только на бетонный холодный стол, но надолго не облокотишься, от холода начинают ныть суставы.

Тут всякая мелочь становится значима... Мне вот, к примеру, везло. Из четырех длительных карцерных сроков три я провел в камере, где одни нары (а всего их в камере четверо) — так вот, одни нары из четырех были недавно отремонтированы, и их почему-то упустили покрасить. А красят жесткой нитрокраской, поверхность становится гладкой, стеклянной, холодной. А ведь ни матрасика, ни хотя бы бушлатика — под себя подстелить — ничего этого у тебя нету, только тоненькая хлопчатобумажная одежонка на тебе — ложись на голые нары и спи. Да хорошо ли уснешь на этом холодном стекле... Но те некрашенные нары были иные — струганое сухое теплое дерево, и если удавалось еще пронести хотя бы половину газеты из рабочей камеры или из бани — это и вовсе была удача, — газетой можно укрыться, газету можно к ногам под носки записать.

Газета, да и любая бумага — спасение в карцере. Хорошо тем, кто получает много писем. Газеты-то в карцер не доставляют, а вот письма обязаны приносить по мере их поступления. И вот мне как-то за двенадцать или тринадцать дней карцерного сидения пришло семь писем от родных и друзей. К концу этого срока я ложился спать, позасунув развернутые письма под майку, и было мне тепло и спокойно. Любимые грели меня.

Но сама возможность иметь в камере хотя бы клочок бумаги зависит и от того, насколько крепко тебя прессуют. Захотят и письма задержат до конца карцерного срока или вовсе будут конфисковывать все подряд, что тебе с воли приходиться будет, или и без конфискации станут выкидывать, тебе ничего и не объясняя даже. Когда-то, наконец, случится, придет письмо — родные пишут: шлем, шлем письма, а нет, не получал ничего месяцами.

Если сильно прессуют, то в ШИЗО и из рабочей камеры не дадут клочка бумаги пронести, будут каждый раз на шмоне догола раздевать, каждый шовчик трусов прощупают. Не только что газеты у тебя не будет — и для параша-то, для санитарных нужд станут бумагу давать размером с почтовую марку — пойдешь, управься...

И, наоборот, если велено им отпустить пресс или только начали прессовать и еще не сильно закрутили, то шмонать будут не очень жестоко, можно и газетку притырить, и еще коротких проволочек из цеха натащить, чтобы на ночь ими приторочить куртку к брюкам — и получится такой комбинезон, спальный мешок — пусть из тонкой бумажной ткани, но в него уже можно с головой залезть и надыхаться немно-

го — все легче.

Здесь, в карцере, как нигде, ощущаешь ничтожество своей телесной оболочки. Я слышал, как в соседней камере в голос плакал старый закавказский крестьянин Иван Новак (мальчишкой он был мобилизован немцами, теперь десять лет строгого режима — старику). В карцере ему было нестерпимо холодно. Он плакал. Менты смеялись в коридоре, заглядывая в глазок его камеры...

Плоть здесь ничтожна... Время, проведенное в карцере, — это время чистого духовного опыта. Нигде и никогда не бывает так светла молитва, как здесь. Нигде и никогда не чувствуешь так близость Света, к которому и обращена молитва... Никогда и нигде не дается тебе такая ясность мышления и миропонимания.

Здесь являются высокие слова. Вся бетонная поверхность стола, покрашенная все той же стекловидной краской, исцарапана надписями — по-грузински, по-литовски, на иврите. Что там — жалобы, стоны? Да нет, вряд ли. Вот по-русски: «И будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня... Претерпевший же до конца спасется».

И еще:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Поэтический дух Ахматовой посетил кого-то в камере...

Вообще-то старик Новак оказался в ШИЗО по какой-то, не помню уже, случайности. Стариков, сидящих «за войну», начальство не прессует. С них что взять, они материал послушный. Их здесь держат просто из принципа «ничто не забыто, никто не забыт» — они и на воле никому не помешали бы. Многие из них в момент ареста были на руководящих должностях, были в партии — нормальные советские люди. Иное дело — «семидесятая статья», политические — эти не когда-то, сегодня активны. Эти себя не виноватыми — правыми считают. Эти и после суда при своих взглядах. Вот этих-то и таскают по карцерам, обламывают. И чем крепче человек стоит, тем больше над ним звереют...

Я никогда не мог понять, что им от меня надо?

Кто я такой? Почему оказался в лагере? Почему теперь в карцере?

Я — писатель. Я — думал и писал. Мне казалось, что я кое-что понял в жизни страны, в жизни общества. Я сказал об этом вслух. Я могу понять, что мои идеи не каждому близки. Но ведь это только идеи! Они подкреплены доказательствами. Они опубликованы, их прочитали и услышали по радио тысячи читателей и слушателей — их теперь нельзя убить в карцере. Их можно только опровергнуть другими идеями.

Но нет, мои идеи здешнее начальство не интересовали. Никто из них, кажется, и не знал, за что я сижу. Им сказали только, что я — особо опасный преступник. Они знали только, что я не раскаиваюсь, что я упорствую в своих преступных взглядах на жизнь.

«Вы не хотите стать советским человеком», — заявил мне как-то майор, начальник лагеря. Это был приговор. И кому там важно, что именно я доказывал в своих книгах. Известно, что я закоренелый преступник — все! Меня начали прессовать.

Самое страшное не карцер. Ну, померзнешь немного — ничего... Они знали, что именно для меня самое страшное, они лишили меня длительного свидания с женой и детьми (это за год трое-то суток максимум — длительное! — да и тех политическим не дают — сутки, двое от силы). Я ждал этого свидания. Жена была больна. Мне казалось, я смогу повлиять на ход ее болезни...

Уже через много дней после замполит зоны — маленький прыщавый старлей с университетским значком на груди — спокойно сказал мне, что свидания меня лишили именно потому, что я его больше всего хотел. Я онемел от этой откровенности. А он смеялся, как смеялись надзиратели, когда Новак плакал от холода. Он смотрел на меня открыто и прямо. Ему нечего было скрывать. Это были принципы лагерной педагогики, спущенные сверху. Он их выполнял.

Я не испытывал ненависти к нему — только тоску и омерзение...

Мне с женой и детьми дали короткое свидание — три часа разговора через пыльное стекло. Я даже младшую дочь не смог взять на руки. Даже дотронуться до них не мог —

только до пыльного стекла перед ними...

А потом пошли карцеры, карцеры. Из меня пытались сделать «советского человека». Выпустить меня отсюда способным думать и говорить по-прежнему они не могли. Не имели права. Это была бы их недоработка... Машина крутилась, и сопротивляться ей или искать компромиссов было моим личным делом. Только моим личным делом. Решительно никого не интересовало, останусь ли я жив. И это было только мое личное дело.

Однажды в карцере я тоже выцарапал стихи на бетонной поверхности стола:

Заблудилась душа моя в звездах,
Закричал я во сне и проснулся,
Поздно жизнь мне менять, но не поздно
Лба холодным трехперстьем коснуться.

Обратиться очами к Востоку,
Вспомнить восемь стихов от Матфея
И предаться слезам и восторгу,
Перед словом Господним немея.

Конец июня 1986 года. Письмо в зону.

Милый Левонька!

Мы тогда остались и ночевали рядом с тобой, уехали утром. И для детей, и для меня это было очень важно. Катька сказала: «Бедный папочка — живет за забором». Сонька окрепла и поуспокоилась. Говорят о тебе с радостью — печаль и тоску высказать еще не умеют — все отзовется потом.

Ездил по гостям, к друзьям на дачи...

Никто не представляет себе тебя бритым, а нам ты очень-очень понравился: Все вспоминаем, какой ты.

Миленький, напиши поподробнее, что приготовить для бандероли. О шерстяном белье я поняла, постараюсь. Что еще? Приготовила рукавицы теплые и носки — нужны?

Сонька сказала после нашего свидания: «Вы оба так светились, что мы с Катькой были не нужны» — обиделась. Говорит: «Я вас такими не видела». Миленький, родненький, жаль-то как, что она раньше нас не видела такими, но как хорошо, что все же увидела, и отметила, и запомнит.

Я все живу радостью нашего свидания. Все вижу тебя. Нашла блоковский «Сиенский собор» и все повторяю. А Жуковскового и друзей нет. Проспрошаю еще. Сегодня Троица. Наши праздники. Я знаю — ты с нами сегодня. И очень это чувствую. Так светло.

Оля по молодости своей сказала, что будешь ты старить через пять лет. Разве старить? Дожить бы.

Сонька стала писать маслом. Купила ей краски и холсты. Очень ей понравилось. Акварелью тоже работает. Было вяловато и сухо, но должна освободиться.

Сегодня уже 23-е — Духов день, и сегодня получили письмо от тебя. Не сердись, милый, что не пишем. Соня не пишет — я для этого есть, а для меня странно еще писать — ты с нами постоянно, надо привыкнуть писать.

Целуем, родненький.

Наташа.

Ах, пингвин, пингвин, пингвин.
Бело пузо, черный спин.

Это Катькина песенка — ей мамушка подарила пингвина. Целуем.

Конец июня 1986 года. Письмо из зоны.

Девочки мои любимые, Натанька! После свидания я только на следующий день немного успокоился, и тогда вдруг стало горько — именно вдруг. Какой-то короткой, острой конвульсией — но прошло, а осталась — и до сих пор — радость, что вы были, что я вас видел, что вы такие красивые, умные — и, конечно же, радость, что ты, любимая моя, смотришь здоровой. Надеюсь, подробности вашего обратного пути уже идут ко мне в письмах?.. На этой же неделе получил я письма — твое, от мамушки Аниты два, от Леша, Сонянины открытки — и всюду катькины письма и песенки — все получил, прочитал по пять раз и хожу счастливый, пою катькину песенку:

Что бы мне такое сделать
Из изделия вчера?
Что бы мне такое сделать
Из изделия сегодня?

А правда, что бы? Сегодня выходной, идет дождь. День большой-большой, и много сделать можно. Я вот отчитал свой ежедневный час по-английски (в будни вечером, в воскресенье — утром) — и что бы еще сделать из изделия сегодня? Все чаще возвращается сознание к «Онегину»... Скажи, пока ты болела, я и думать не мог, что сумею писать о Пушкине. Так, брезжило что-то в душе, как тоска. Но вот ты здорова — и сознание мое как бы освобождается от спазма... Что мне сейчас важно? Самое интересное и важное сейчас — подумать о композиции, о композиционных принципах, о структуре романа...

Ладно, миленькие мои. Вот я начал с утра это литературоведческое письмо, а теперь уже к вечеру — устал так долго писать с непривычки. Что же еще? Тут, конечно, приходит в голову много побочных мыслей — и о композиции сонянинных картинок, и об особенностях композиции лепных изрушек — частично это обсуждал Лессинг в «Лаокооне». Когда-нибудь поговорим...

Как там, Соняша, твои труды?..

Всем приветы и поклоны.

Целую вас, родные мои.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

В слепом домишке лагерного «штрафного изолятора» — тюрьмы внутрилагерной — всего шесть камер. Шесть камер, крошечная баня на одного человека (а запихивают сюда и по трое) и еще просторная дежурка для надзирателей. Здесь, вдалеке от строгих глаз начальства (у них ведь тоже свои проблемы), надзиратели любят собираться ночью, посидеть, попить чайку, потравить анекдоты — все это с громким ржанием, от которого вздрагивает и просыпается забывшийся в карцере трясущийся от холода эск.

На шесть камер — три камеры для карцера, две — для ПКТ (помещение камерного типа — строжайший тюремный режим, строже обычной тюрьмы) да еще рабочая камера — небольшой цех. Назначено ли эску полгода ПКТ или неделя-другая в карцере — он обязан работать. И на работу выводят в эту самую рабочую камеру. ПКТ, как правило, выводят в первую смену, карцер во вторую.

Когда сидишь в карцере, то возможность выйти в рабочую камеру — благо. Тут можно даже найти пару сигарет — есть такие укромные места, о которых не то чтобы менты не знали, но в которые им добираться каждый раз лень — они ведь тоже люди с советской психологией и, создав видимость работы, больше того пальцем не двинут — то-то и эску благо, а то бы вовсе невпродых было.

Сигареты оставляют ребята, сидящие в ПКТ, — им и курить разрешается, они и газеты в камеру получают. В тюрьме закон: чем строже режим у человека, тем больше ему внимания от товарищей. А уж строже карцера режима не бывает. Карцеру — самое уважение.

Когда в декабре 1985 года я только еще приехал на зону и здесь, в «штрафном изоляторе», проходил десятидневный карантин, то первое человеческое слово я услышал из дырки отхожего места: «Здравствуйте!» — прощептал мне оттуда. Я поздоровался и представился. «Вы прибыли на 36-ю, политическую зону, — тихо, но с напором шептало в ответ. — Я Алексей Смирнов, москвич, сижу по 70-й статье за издание «Хроники текущих событий». Сейчас нахожусь в соседней с вами камере — в карцере, уже больше месяца безвыходно. Последний раз добавили десять суток срока за то, что одна пуговица на куртке была расстегнута. Издеваются... Но не во мне дело. Чем вы можете помочь товарищам, сидящим в ПКТ? Там писатель Борис Черных. У него большая печень. Передачку можно оставить в прогулочном дворике в снегу...»

Он ничего не просил для себя. Он говорил о сидящих в ПКТ — Борисе Черныхе (пять лет лагерей и три ссылки за создание «Вампиловского педагогического товарищества» в Иркутске), о ленинградском историке и поэте Ростиславе Евдокимове (шесть лет лагерей и четыре ссылки за издание бюллетеня, пропагандирующего независимые профсоюзы). Он ничего не просил для себя, хотя уже сороковой день сидел в камере, где одна стена была покрыта густым инеем. Уже потом он мне рассказывал, что ему было не так уж плохо, потому что удалось хлебным клеем склеить одеяло из трех газетных листов — из газет, которые Черных и Евдокимов оставили ему в рабочей камере.

Сидел он в камере не один, а с молодым парнем из Киева, с Сергеем К-о (десять лет лагерей за одно свидание с амери-

канский военным атташе. Американец малость не расчухал и решил, что парня можно завербовать «явочным порядком», и послал ему до востребования в городишко, где Сергей тогда временно жил, письмо, написанное тайнописью, с инструкциями. Письмо так и пролежало невостребованным — да парню и в голову не пришло бы, что он завербован, — пока не вскрыли письмо «заинтересованные лица». Тайнопись проявили — К-о получил десять лет). Так вот, Сергей, с которым я, в свою очередь, тоже в карцере сживал, очень хвалил Смирнова за находчивость: и при газетах всегда были, и курево было, и даже пару раз чайком побаловались — дали знать на зону, и с деталями в цех было прислано... «С ним хорошо сидеть», — говорил Сергей, и это высшая похвала для зэка. А может быть, и вообще высшая похвала для человека в этой жизни.

Хорошо сидеть было с Борисом Ивановичем Черныхом. Мы сидели с ним несколько месяцев в ПКТ уже через год после моего приезда на зону и его первого «пакетного» срока. На Новый год — 1987-й — мы себе не только чаю заварили, но даже торт сделали (крошка ларечного печенья, маргарин, пыль какао с сахаром, ссыпавшаяся с дешевых карамелей, яблочное повидло. Чай же нам — пару хороших заварок! — опять-таки в укромном месте рабочей камеры оставил азербайджанец Алиев, бывший в то время на карантине после возвращения из Чистопольской тюрьмы (к сожалению, я так и не успел с ним хорошо познакомиться: вскоре после того, как я вышел из ПКТ на зону, посадили его). Ему же этот чай тоже достался в порядке зэковской взаимовыручки — кто-то на этапе сунул: человек, возвращающийся из крытой, — самое уважаемое лицо в пестром этапном потоке — и в камере, и в «стольпине». Ему через весь вагон и чайку передадут — если не заваривать, так хоть пожевать, — и курева, и вообще, если нужна в чем-то есть — ну, скажем, тапочки нужны — найдут, подберут поудобнее и подгонят.

Вообще на нашей политической зоне никто не голодал еще и потому, что хорошо была поставлена взаимовыручка. И если менты упорно прессовали кого-то, и упорно, месяц за месяцем, лишали ларька и посылки, то так же упорно, месяц за месяцем, все остальные со своих ларечных покупок отделяли должную часть — и жил человек, не нуждаясь. Душой этой взаимовыручки был католический священник о. Альфонсас Сваринкас — многолетний зэк, тянувший уже свой третий срок (на этот раз за издание журнала «Комитета в защиту верующих» — семь лет лагерей и пять лет ссылки). Он внимательно следил, чтобы у каждого из нас была пачка маргарина, банка повидла, флакон подсолнечного масла, горсть дешевых конфет... В рамках предложенных обстоятельств никто не сидел одиноко, сложа руки и понутив голову, хоть и были все люди разных мировоззрений. Наша правота, наше сопротивление было еще и в том, что мы стремились выжить не каждый по отдельности, но все вместе. И в этом один поддерживал другого. И если была хоть малейшая возможность, никого не оставляли в одиночестве.

И когда кто-то погибал, в этом не было вины его лагерных товарищей. Туда, за край, уходили люди, удержать которых у нас просто не было возможности...

Может быть, мне и здесь повезло. Говорят, на других зонах было иначе. Говорят, политзеки были разъединены, а иногда и вовсе вражда разъедала зону... Не знаю. По отношению к нравственному климату 36-й политической зоны в те времена, когда я здесь сидел, в моих словах нет ни тени идеализации. Все так было, как я говорю.

Повторяю, за край уходили только те люди, удержать которых у нас просто не было возможности.

Начальнику Главного управления
исправительно-трудовых учреждений
МВД СССР

от Эклсер Натальи Евгеньевны

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, жена Тимофеева Льва Михайловича, находящегося в заключении в лагере 389/36, не имею никаких известий о нем с 9 сентября с. г. На телеграмму, посланную в лагерную медсанчасть, я не получила ответа.

Прошу помочь мне узнать, что с моим мужем.

Когда я раньше спрашивала начальника лагеря, почему не приходят письма, то он отвечал, что последнее письмо отправлено такого-то числа. Но когда отправлено последнее

из дошедших писем, я и сама знаю. Меня тревожит, почему так долго нет писем. Они не доходят? Или мой муж не может писать?

Если не доходят, то почему?

По последнему письму за 9 сентября я поняла, что два не дошедших до этого письма (за август и сентябрь) были посвящены рассуждениям чисто литературным (мой муж — литератор и был занят изучением творчества Пушкина до ареста). Имеет ли право заключенный делиться в письмах семье своими размышлениями о литературе? Если цензорам что-то не понятно в этих размышлениях, то причина ли это для конфискации писем?

Прошу Вашего содействия. Прошу разобраться, по каким причинам были задержаны письма (заказные). Может быть, с ними ознакомятся более грамотные цензоры, которым будут доступны размышления о Пушкине, которые способны понимать, что это действительно размышления о литературе, о законах творчества, что за ними нет никаких намеков и второго смысла.

И мне, и нашим детям очень важно знать, имеет ли мой муж хоть малую возможность продолжать свои занятия литературой и посвящать нас в свои литературные интересы.

Это о конфискованных письмах. Но я тревожусь, что мой муж вообще лишен возможности писать письма и подвергается в лагере притеснениям. И не только отсутствие писем это подтверждает.

По произволу лагерного начальства нас лишили положенного в этом году личного свидания. Начальник лагеря Долматов сказал, что он не помнит, за что именно лишен свидания мой муж, и отказался говорить на эту тему. Опер. Журавков заявил мне, что мой муж грубит, не выполняет норму и нарушает режим. И все оказалось ложью. На общем свидании мой муж рассказал, что до того, как он подал заявление о личном свидании, у него не было ни одного замечания, но сразу после заявления начались мелкие придирки (вышел вне строя — замечание, раньше почему-то не замечали, надел не тот лагерный бушлат — замечание — раньше ходил так же, но не обращали внимания). Разве это не показывает бесчеловечного стремления лагерного начальства под любым предлогом не дать свидания и этим унижить, оскорбить надеющегося узника... и в этом вопросе я еще раз прошу Вашей помощи и контроля. Я прошу положенного личного свидания.

Почему по произволу лагерного начальства наши дети лишаются возможности хоть три дня в году побыть вместе с отцом? А не только три часа смотреть на него через стекло.

И еще. Насколько мне известно, при каждом лагере существует помещение гостиничного типа, где могут останавливаться родные, приехавшие на свидание. Я попросила поместить меня с детьми в такую комнату. Начальник лагеря отказал. И только после моего обещания ночевать с детьми на улице нас поместили в нежидкую, грязную, промозглую комнату. При этом опер. Журавков заявил, что если бы не дети, то меня-то они уж точно оставили на улице. Если мы родные человека, осужденного за свои убеждения, то дает ли это право на бесчеловечное обращение с нами? У них служба, но и служить можно с достоинством, не опускаясь до лжи и хамства. Если эти люди не отказывают себе в удовольствии поиздеваться над женщиной с детьми, то какие же у них возможности для жестоких издевательств над людьми, которые находятся под их неограниченной властью?

Может быть, все-таки в Ваших силах помочь нам всем?

13 ноября 1986 года

Подпись.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Когда после суда меня привезли в лагерь, Михаил Денисович Фурасов был уже очень болен, и все понимали, что болен он безнадежно: он горстями ел снег, чтобы хоть как-то избавиться от вкуса мочи, который он постоянно ощущал во рту, — почки уже вовсе отказывались работать.

Это был очень тихий, очень вежливый человек. Интеллигент, кандидат технических наук... Зэки, которые любят обмениваться для чтения своими приговорами и знают все о судебных делах каждого, установили специальный приз — пачку чая — тому, кто скажет, за что сидит Фурасов. Это была тайна. Его дела никто не знал. Была у него статья 70

(в ее украинской версии), но говорить о подробностях он не хотел: «Я давно признал свою вину. Теперь надо выжить и выйти отсюда».

Выжить в лагере люди пытаются по-разному. Можно в «седьмом кабинете», в кабинете уполномоченного КГБ, этого хозяина зоны, распорядителя наших судеб — можно в этом кабинете дать понять, что ты готов к долгим содержательным беседам. Это, конечно, за зону не выведет, но освободит от мелких придирок, и бандерольку в срок получишь, а придет время — и посылку, да и свидания не лишат, как строптивых лишают, а дадут длительное, «личное», на положенные трое суток, да еще могут и дополнительное, льготное разрешить — опять трое суток с семьей... Да и работу дадут полегче, а то и вовсе художником или даже нарядчиком поставят...

Нет, Михаил Денисович хоть и был до робости тихим эзком, но никакими льготами не пользовался. Напротив, трудно сказать, за что, но его спокойно и верно убивали в глазах у всей зоны. И ни для кого это не было тайной, и только сам Фурасов как бы не хотел этого видеть и сердился, когда ему предлагали организовать коллективную поддержку — писать в его пользу или объявить голодовку. Он боялся озлобить ментов. Он боялся их злобы.

И действительно, менты, кажется, и не злились на него... Когда-то, года за полтора до меня, он приехал на зону здоровым человеком. Делал зарядку, бегал по утрам по небольшой лужайке возле медчасти, обтирался холодной водой. Но зимой простудился — то ли выгнали его в ботинках мокрых снег убирать, то ли заставили шлак на холодном ветру грузить, и его, распарившегося от работы, и прихватило — как именно простудился, он и сам не помнил. Простуда дала осложнение на почки. Врач посмотрел, дал какие-то таблетки, но от работы не освободил, хоть от таблеток лучше не стало.

Прошло месяцев пять, если не больше, прежде чем его повезли в больницу или, как здесь говорят, «на больничку». Там — когда много завсегдатай «седьмого кабинета» держат в больнице и по месяцу, и полтора, отпуск ему устраивают, отдых — Фурасова продержали всего две недели, лечить не лечили, но анализы сделали. Врач посмотрел анализы, сказал: «Теперь мы знаем, что с вами», но опять — как-то странно — лечить не стали, а отправили назад, в зону.

Вот и все. Лечение закончилось, не начавшись. Давали, как и прежде, какие-то таблетки, но толку от них не было. Казалось, что лагерное начальство, а из-за их спин и врач, со спокойным любопытством смотрят, как развивается болезнь и как движется человек к краю. Двигается и движется, и они его туда подталкивают и подталкивают полегоньку...

Фурасов работал не то чтобы на трудной, но на достаточно нудной операции: за маленьким станочком нарезал на мечиком еле видимую резьбу в крошечном латунном контакте — зона делала детали для электроутюгов, которые собирали где-то на другой зоне.

В цеху гуляли сквозняки. Фурасов сидел целый день, сторбившись, за своим станочком, укрывши больные почки бушлатом. Из-за станка не встань, не отходни — сразу замечание, а то и наказание — или ларька лишают, или заставят вне очереди снег на жилой зоне убирать после работы.

Уставал Денисыч сильно, к концу рабочего дня опухали ноги, но даже и в свободное время хоть бы прилечь на койку — нельзя, запрещено. Вечерами в бараке за большим столом, где люди читали или играли в шахматы, он сидел рядом с нами, положив голову на руки и тяжело забываясь. Так он ждал отбоя, после которого можно было, наконец, лечь по-настоящему.

Но ночью Фурасов спать не мог. Он постоянно просыпался. Мучили почки, мучила мигрень, мучил отвратительный застоявшийся вкус во рту — хотелось полоскать рот чистой водой, хотелось пить чистый растопленный снег — и он вставал, бродил по бараку, заходили дежурные менты (и по ночам нет покоя!) — громко топая, светя фонариком на лица спящих, — и Фурасов выслушивал их змеиные, свистящим шепотом замечания.

Болезнь развила в нем обостренное «чувство пользы». Весной он первый находил на зоне пучок свежей крапивы и, ошпарив кипятком, съедал его. В ларьке из наших жалких эзковских восьми рублей, положенных на все про все (хотя ему, кажется, регулярно разрешали потратить еще пятерку — «производственные» за выполнение нормы и за безупречное поведение — словно знали, что это не остановит его движения к краю), — из этих жалких денег он каждый раз

выкраивал что-то на свежие (на самом деле всегда полугнилые, бросовые) овощи — редьку или лук. (Нужды нет, что их-то как раз почечному больному и нельзя — где уж там! — другого-то свежего нет ничего, а хочется.)

Иногда вдруг он задавал вслух вопросы, которые диктовал ему не разум, но диктовала его болезнь: «Почему они не везают в ларек молочные продукты?»

Он надеялся выжить и выйти отсюда. Он был совершенно одинок, и, хотя ему было уже пятьдесят, он рассказывал, что решил было жениться, но вот помешал арест. Но он еще надеялся. Он говорил мне, что скоро он выздоровеет и снова начнет делать зарядку и обтираться холодной водой. Он спрашивал у меня, сколько может стоить домик — пусть какая-нибудь развалюха — в сельской местности. Кажется, из своего почти символического заработка (и того половину «законно» забирает «хозяин» — начальник зоны) — из этой малости он ежемесячно откладывал что-то пятнадцать ли, двадцать ли рублей — на будущий дом. Он надеялся купить развалюху и дать ей ремонт... Сидеть ему было еще пять лет, и он надеялся.

Добило его, кажется, общее для всех ежегодное распоряжение о переходе на летнюю форму одежды: с началом лета бушлаты носить запрещалось. Наступал июнь, начальство — сытым, здоровым — показало, что уже достаточно тепло, и последовал приказ: телогрейки снять... Как-то завернул северный ветер, пошел дождь — но приказ есть приказ: кто вышел в бушлатах-телогреечках — тех от ворот промзоны назад, да еще и со вздыханием за получившееся опоздание да за слушание. Так и с Фурасова в этот ветер и дождь сорвали бушлатик. И еще его к краю подтолкнули, теперь уж совсем близко...

Недели через две, что ли, я проснулся ночью от того, что кто-то в секции сильно храпел. Вообще-то в лагере храпунов хватает — люди все немолодые и больные. Я, к слову, долго спал рядом с человеком, который громко — громче, чем храп, — скрипел зубами. Скрипел на всю секцию, где спали тридцать человек, — и я к нему всех ближе спал — и ничего, привык. Но тут был такой храп, что я проснулся. Храпел Фурасов. К нему уже склонился его сосед: «Он не храпит — хрипит без сознания...» Побежали за дежурным, послали за врачом.

Врач пришел, да хоть он и будет на зоне — к больному в секцию не придет, хоть пусть умирает человек — несите в медсанчасть.

В ночных сумерках, почему-то не зажигая света, двигались темные тени над хрипящим Фурасовым. Положили на носилки. Понесли. Исчезли.

Утром увезли его «на больничку». А на следующий день он умер.

О смерти Фурасова начальство прямо не сообщило. Но когда через день кто-то спросил по-хитрому, не умер ли Фурасов, дежурный чин окрысился: «Ну и что, что умер, — и на воле люди умирают». Так люди узнали, что Михаил Денисович до своего домика не дожил.

В день, когда Фурасова еще только увезли в больницу, меня как раз посадили в карцер — не помню уж точно, как было сказано, за что, — кажется, за голодовку, которую мы объявили, протестуя против сдрочивания бушлатов с окочневших эзков.

Вышел я из карцера больной и пошел на прием к лагерному врачу — к длинному, довольно спокойному баскетбольно-спортивного вида парню лет тридцати пяти — пошел не только за таблетками, но еще и в надежде узнать, как умирал Фурасов, каков окончательный диагноз.

Врач — словно чувствовал вину — даже разговорился, против ожидания свободно. «Он ведь был почечный, а почечные дела не предсказать. Я на «скорой» работал, знаю». Оттого он и разговорился, что ему надо было распространить, вбить нам в сознание определенный взгляд на смерть Фурасова.

Я слушал и помнил, что этот вот долговязый не давал уже слабейшему человеку освобождение от работы — до последнего дня не давал! — и еще за три дня до смерти заявил, что Фурасов «практически здоров» — так Денисыч и захрипел в ночь после обычного рабочего дня. «За станком умер», — говорили эски... И вот сидел я рядом с этой тусклостью и опять чувствовал не ненависть, а тоску. «Мы ведь тоже тут мало можем», — так он говорил, и я думал, что вот сидит врач — какую-то там клятву Гиппократу они, что ли, дают — да не в клятве дело! — ведь вот когда-то хотел лечить людей, на «скорой» работал, спас, должно быть, не одного... и вот пошел сюда работать, не лечить —

но если уж и не убивать прямо, то, по крайней мере, смотреть равнодушно, как они равномерно, спокойно, не торопясь, подталкивают человека к смерти, а другие руководят этим подталкиванием, и стал тоже подталкивать («Мы ведь тоже тут мало можем») — и вот нет Фурасова.

За что? Что он такое сделал? Что мы все такое сделали?

Я сидел и слушал его, и у меня даже желание не появилось сказать ему что-то резкое. Тоска! Но вот мой товарищ Борис Черных — тот не выдержал — в рожу ему закричал: «Убийца!» И отправили Черных в карцер, хоть и сам он в то время грипповал и был в жару, — не сразу, к вечеру пришли в секцию, вынули из постели больного, насильно одели, выволокли. Это было уже совсем рядом. Это уж и меня возмутило — и меня туда же, в карцер, больного с температурой, — чтобы не возмущался.

Смерть Фурасова, двое больных в карцере — зона была возбуждена: «Менты обнагтели!» На следующий день пятнадцать человек не вышли на работу — забастовали... Начальство ответило по-своему: распахали людей по карцерам, приехали еще и начальники сверху — чуть не бунт на зоне! — всех выслушали, всем угрожали, но и покивали головами, пообещали разобраться, расследовать — и ничего. Глухо. Как было все, так и осталось.

После всех карцерных передышек вышел я на зону уже в январе. Пошел было работать на знакомое кочегарское место. Но почувствовал, что не могу, что еле доволакиваю смену. Сердце, что ли, от полугода малой подвижности сдавать стало? А кому пожалуешься? Врач выслушал — иди, здоров!.. И вот тут-то я и подумал, не меня ли будут теперь спокойно и неторопливо подталкивать к тому краю, за которым исчез Фурасов? А пока меня не было на зоне, исчез за этим краем и старик Бутлерс — тоже до последнего дня работал. И еще один несчастный — язвенник Пушкар, взаправдавший северокорейский шпион...

Не моя ли очередь?

Сидеть-то мне еще четыре года с лишком, не считая ссылки.

Уже много позже я не то чтобы узнал, но слух был, за что именно сидел Фурасов: он будто бы искал неизвестные факты биографии Брежнева. И находил. И что же это за факты были такие? Видать, страшным делом занимался Михаил Денисович! Не оттого ли его так быстро и свалили за край?

**ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
В ГАЗЕТУ «ИЗВЕСТИЯ»**

13 февраля 1987 года

В последние дни средства информации Запада сообщают об освобождении в нашей стране ряда политических заключенных. Но отрадное известие это содержит подробности, которые вызывают недоумение, а порой похожи и на прямую дезинформацию. Как освободили? Отвечают: Указами Президиума Верховного Совета от 2 и 9 февраля. О чем Указы? О помиловании. Причем неоднократно и настоятельно повторяется — кому-то нужно это повторять! — что заключенные писали прошение о помиловании и что их помиловали. То есть перековались политэзки, рассказали, запросили пощады.

Не могу сказать за всех освобожденных, но что до меня, то здесь прямое недоразумение. Я не только никого никогда не просил о помиловании (т. е. о прощении вины), но и самой-то вины за собой не знаю и не знал никогда прежде — и об этом заявлял неоднократно с момента ареста.

Нет, политзаключенному не все равно, как и при каких обстоятельствах его освободят. Кому заключение страшнее всего, тот вообще не станет публично заявлять свои убеждения. За это — лагерь, тюрьма. Многие и молчали. И молчат. А и в лагере-то сидели по 70-й, печально известной статье в большинстве своем те, кто не стал молчать — совесть не позволяла. Чего бы теперь-то свобода так уж вздорожала, что дороже совести?

Будучи арестован два года назад за свои литературные работы (и только за литературные работы), я был приговорен к 11 годам лишения свободы — 6 лагерей и 5 ссылки. Поскольку само обвинение и следствие, и суд — все было основано на лжи и беззаконии, я отказался отвечать следователю, отказался не только участвовать в суде, но и присутствовать в зале суда. Видимо, за это (а к разным разным отношениям) в лагере меня ждал особенно жестокий режим:

в первый же год — почти шесть месяцев карцера и особо строгого камерного содержания во внутрилагерной тюрьме. По логике событий, накатанной десятками судеб, надо было готовиться к переводу в тюрьму, а подалее будущее было и вовсе туманно... Что же, к любому надо быть готовым, как готовы были те, кто прошел здесь раньше и кто навсегда остался на тюремных и лагерных кладбищах — только за последние два года с небольшим только на одной нашей 36-й зоне умерли 12 человек — это там, где всего-то не более 70 заключенных!

И вдруг все решительно меняется. В конце января в пермском лагере № 36, где я отбывал срок, появился прокурорский чиновник, который от имени Президиума Верховного Совета заявил мне (и других по одному вызывал и говорил), что через две-три недели я буду освобожден и буду дома. Без прошения о помиловании. Без признания своей вины. Прямо так вот и сказал: две-три недели... Неслыханно!

Я — литератор, публицист — был арестован за свои убеждения. И нынешнее освобождение без признания мной вины есть фактическое признание права на те убеждения, за которые прежде сажали. А как еще понять?

Вообще-то говоря, и мне, и многим моим товарищам по зоне прежняя логика развития лагерных событий, ужесточение режима казались в противоречии с логикой событий в стране за последние полтора года. Слово о близком освобождении воспринялось как еще один шаг к наметившемуся просветлению общественного климата...

Что говорить, я рад освобождению. Не только потому, что снова с детьми и женой. Я рад освобождению (а знаю, что и многие другие мои товарищи по зоне тому же рады) потому, что это может и должно означать отказ от политики жесткого подавления сверху всякой не только что критической, но и просто аналитической мысли — отказ от политики, так тяжело угнетавшей творческие возможности нашего общества. Я рад освобождению, поскольку надеюсь, что для нас, для советского общества в целом, наступает время социального мира и творческого сотрудничества, к которому приглашаются все наличные общественные силы — сотрудничества на основе уважения мнения каждого и самого разнообразия мнений.

Я — гражданин своей страны. Я — часть общества. Я наравне со всеми разделяю ответственность и не уступаю эту ответственность за судьбу страны никому и ни при каком условии. Но я готов к широкому сотрудничеству. Вот почему я рад освобождению. Вот почему рады освобождению многие из тех, кто вышел на свободу одновременно со мной.

Вот почему я пошел навстречу просьбе того благовестившего чиновника и написал заявление в Президиум Верховного Совета: «Прошу освободить меня от назначенного мне срока заключения. Не имею намерения наносить ущерб советскому государству, как, впрочем, не имел такого намерения никогда прежде».

Я пошел навстречу социальному миру и сотрудничеству. Пошел, сохраняя свои убеждения. Пошел, потому что знаю, что разнообразие убеждений и мнений и прежде было нужно обществу и теперь не менее необходимо...

И вот теперь кому-то хочется, кому-то выгодно распространить униженный и, может быть, даже провокационный слух, что все не так. Что-де не об уважении к моим (и других освободившихся) убеждениям говорит Указ Президиума Верховного Совета, а лишь о политическом маневре властей, о маневре пешкой в шахматной партии с Западом. И я (как и другие мои сокамерники) не из уважения к новой политике сотрудничества потянулся навстречу, а из рабочего смирения, из страха, из низкого чувства самосохранения. Да кто же поверил этому? Кто же подхватил?

И вот теперь в Указах — речь о помиловании. О прощении... Какую мою вину прощают? Не ту ли, что задолго до нынешних громких речей я проанализировал механизм «теневых» товарных отношений в стране, «технологии черного рынка»? Не ту ли, что до объявления гласности я заявил, что именно в открытом обсуждении общественных проблем — последняя надежда выжить?

Я никогда не был радикалом. Насилие политическое, идеологическое, любое иное — мне отвратительно.

Я говорю об этом не потому, что вот я оскорблен лично и требую удовлетворения. Нет. От меня не требовали отказа от моих убеждений, и я, сознавая, что живу в государстве чиновников, в конечном счете готов примириться и с той чиновничьей лексикой, которая использована в Указе,—

может, там пока и слова-то нет иного, кроме как «помиловать» — пусть!

Нет, оскорбительно не это и не это заставило меня писать. Оскорбительно, что освобождены не все политические заключенные. Многие — самые чуткие, самые душевно ранимые, — предчувствуя вероятность провокации, отказались писать что бы то ни было даже в самой компромиссной форме. Они остались в тюрьмах. Они справедливо ждали от Президиума Верховного Совета последовательного и полного уважения, уважения без условий. И пока не дождались. В московской Лефортовской тюрьме — Алексей Смирнов, Валентин Новосельцев, Валерий Сендеров... В минской или гродненской — Михаил Кукобака... В тбилисском изоляторе — Вахтанг Дзабирадзе, Гурам Гогбаидзе. В Вильнюсе — Альфонсас Сваринкас... В Чистополе — Иосиф Бегун... А сколько всего по стране? Унизительно то, что даже этого мы не знаем точно.

Во многих случаях пока и вообще нет речи об освобождении. Так, не ясна судьба «полосатых» (по каторжной одежде) узников особого режима 36-го пермского лагеря, где среди иных находится писатель Леонид Бородин. Не ясна судьба организатора христианского просветительского семинара Александра Огородникова, отбывающего возле Хабаровска в уголовном лагере свой (третий подряд, без выхода хоть на один день на свободу) многолетний срок. Не ясна судьба преподавателя иврита Юлиана Эдельштейна, заключенного в уголовный же лагерь по ложному обвинению.

Вот почему я обращаюсь через «Известия» к Президиуму Верховного Совета. Пока не освобождены безусловно все политические заключенные, немало остается оснований у тех, кто хочет воспринимать и наше освобождение лишь как маневр. Да и нам остается сомневаться: а не правы ли они?

Уважение государства к свободе убеждений может быть только полным — и тогда уважение будет взаимным. Сотрудничество может быть только искренним — и только тогда оно плодотворно.

Я готов к сотрудничеству. Я ищу социального мира. Я жду освобождения тех, кто пошел на страдания ради своих убеждений. Этого ждут многие и у нас в стране, и в мире.

Бывший политзаключенный
Лев ТИМОФЕЕВ, литератор

Вынужденный Р. С.

Через несколько дней после того, как это письмо было написано и отправлено, стало ясно, откуда пошли унизитель-

ные слухи. Начальник управления информации МИД СССР Г. Герасимов на брифингах начала и середины февраля упорно вбивал в головы западным журналистам, что освобождение политзаключенных произошло в ответ на их «просьбы о помиловании», в ответ на «отказ от противоправной деятельности». И ведь, кажется, ему хорошо удалось убедить корреспондентов, что вот примирились диссиденты, потому их и отпустили. Опасная ложь! Ложь, которую, видимо, запускают те, кому и мысль о социальном мире и сотрудничестве нестерпима.

Заявляю вполне определенно: наше освобождение есть факт торжества как раз тех самых идей, за которые люди сознательно шли в тюрьмы и в лагеря. Именно тех идей! Представить же это, напротив, как подавление, как нравственное поражение инакомыслия хотят те, кто сажал нас и два, и пять, и пятнадцать лет назад. Они и теперь мыслят репрессивными категориями. Насколько же они определяют политику, покажет ближайшее будущее.

20 февраля 1987 г.
гор. Москва

Лев ТИМОФЕЕВ

ПОСЛЕДНИЕ ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Я мало что знаю о собственной жизни. Я плохо вижу. В ежедневном течении явлений и событий мне дано увидеть только поверхность, только внешнюю сторону, только само движение — но суть происходящего остается закрытой — тайна! Сколько должно пройти времени, чтобы хоть чуть приоткрылся смысл происходящего с нами сегодня, — годы? десятилетия? века? Или должна завершиться вся История в целом, чтобы в ней вполне определились смысл и гармония каждой отдельной жизни? Почему мне удалось сделать эту книгу? Не знаю.

Я не раз задумывался, кто я такой. И чем старше я становился, тем менее заносчив был мой ответ. И вот как-то в лагере я, кажется, понял вполне. Мне вспомнилось, что некогда Он послал людей в недалекое селение привестись молодого осла: «Скажите, что он надобен Господу». Вот я себя и чувствую тем ослом, которого отвязали и повели — для чего-то он надобен Господу. Я иду и не задумываюсь, куда и для чего именно. Все равно не понять — тайна!..

Май — июнь 1987 г.



АБИТУРИЕНТ-91, 92

- Глубокие знания и прочные навыки,
- уверенность в своих силах,
- возможность индивидуального обучения у ведущих преподавателей столицы вы приобретете, обучаясь по оригинальным методикам кооператива

«МОСКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ».

«МОСКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ» — это ассоциация высококвалифицированных преподавателей, обладающих большим опытом учебной, методической и репетиторской работы. Эффективность наших программ подтверждена многолетней практикой вступительных экзаменов. ЗАОЧНАЯ ФОРМА обучения предусматривает:

- обеспечение абитуриентов учебно-методическими пособиями и контрольными заданиями по любым предметам школьной программы;
 - объективную оценку знаний и способностей каждого;
 - систематизацию знаний, углубленное изучение наиболее трудных тем и вопросов;
 - обязательный систематический контроль в течение всего года;
 - индивидуальную работу с каждым абитуриентом;
 - учет специфики выбранного вами вуза.
- Если вы сомневаетесь в выборе будущей профессии, вам поможет система ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ кооператива «Московский Лицей», которая позволит выявить ваши склонности и определить наиболее перспективные направления профессионального роста.
- Для получения дополнительной информации об учебных программах, порядке и условиях обучения направьте заявки с указанием необходимых вам предметов по адресу: 125190, Москва, аб. лицей № 140.
- Не забудьте вложить в свое письмо конверт с вашим адресом.
- Для абитуриентов-москвичей и жителей ближайшего Подмосковья с сентября действует очная форма обучения.
- Телефоны: 457-26-75, 158-18-89, 299-99-56.
- Зачисление на заочную и очную формы обучения в течение всего года.